Ж А К

ЛАКАН




PHÄNOMENOLOGIE
HERMENEUTIK
SPRACHPHILOSOPHIE

ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
ГЕРМЕНЕВТИКА
ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СЕРИИ
БОНДАРЕНКО А. Л.

ПОДГОТОВКА ОРИГИНАЛ-МАКЕТА СЕРИИ:
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ГРУППА «ЛОГОС».

ЖАК ЛАКАН

ФУНКЦИЯ И ПОЛЕ РЕЧИ И ЯЗЫКА В ПСИХОАНАЛИЗЕ

Доклад на Римском Конгрессе, читанный в Институте психологии Римского Университета 26 и 27 сентября 1953 года

МОСКВА
«ГНОЗИС»
1995

ББК 87.3
Л 86

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО,
ЧЕРНОГЛАЗОВ А. К.

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
БОНДАРЕНКО А. Л.

ПОДГОТОВКА ОРИГИНАЛ-МАКЕТА:
РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКАЯ
ГРУППА «ЛОГОС».

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ФИНАНСОВОЙ
ПОДДЕРЖКЕ МИНИСТЕРСТВА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ ФРАНЦИИ
И ПРИ СОДЕЙСТВИИ ОТДЕЛА КУЛЬТУРЫ, НАУКИ И ТЕХНИКИ
ПОСОЛЬСТВА ФРАНЦИИ В МОСКВЕ

Лакан Ж.

Л 86 *Функция и поле речи и языка в психоанализе*. Пер. с фр. / Перевод А. К. Черноглазова. М.: Издательство «Гнозис», 1995. — 192 с.
Редатор перевода: П. Скрябин.

ISBN 5-7333-0469-3

Формат 60x90/ 16. Бумага офсетная. Гарнитура Бодони.
Печать офсетная. Тираж 5 000 экз.
Заказ № 3162

Отпечатано с оригинал-макета в Московской типографии № 2 «РАН»
121099, Москва, Шубинский пер., 6.

ФУНКЦИЯ И ПОЛЕ РЕЧИ И ЯЗЫКА В ПСИХОАНАЛИЗЕ

FONCTION ET CHAMP DE LA PAROLE ET DU LANGAGE EN PSYCHANALYSE

En particulier, il ne faudra pas oublier
que la séparation en embryologie, anatomie, physiologe, psychologie
sociologie clinique, n'existe pas dans la nature et
qu'il n' y a qu'une discipline: la n e u r o b i o l o g i e
à laquelle l'observation nous oblige d'ajouter l'épithète
d'h u m a i n e en ce qui nous concerne.
(Citation choisie pour exergue d'un Institut de Psychanalyse, en 1952)

Le discours qu'on trouvera ici mérite d'être introduit par ses circonstances. Car il en porte la marque.

La thème en fut proposé à l'auteur pour constituer le rapport théorique d'usage en la réunion annuele dont la société qui représentait alors la psychanalyse en France, poursuivait depuis dix-huit ans la tradition devenue vénérable sous le titre du «Congrès des Psychanalystes de langue française», étendu depuis deux ans aux psychanalystes de langue romane (la Hollande y étant comprise par une tolérance de langage). Ce Congrès devait avoir lieu à Rome au mois de septembre 1953.

Dans l'intervalle, des dissentiments graves amenèrent dans le groupe français une sécession. Ils s'étaient révélés à l'occasion de la fondation d'un «institut de psychanalyse». On put alors entendre l'équipe qui avait réussi à y imposer ses statuts et son programme, proclamer qu'elle empêcherait de parler à Rome celui qui avec d'autres avait tenté d'y introduire une conception différente, et elle employa à cette fin tous les moyens en son pouvoir.

Il ne sembla pas pourtant à ceux qui dès lors avaient fondé la nouvelle Société française de Psychanalyse qu'ils dussent priver de la manifestation annoncée la majorité d'étudiants qui se ralliaient à leur enseignement, ni même qu'ils dussent se démettre du lieu éminent où elle avait été prévue.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Не следует, в частности, забывать, что деления на эмбриологию, анатомию, физиологию, психологию, социологию и клинику в природе не существует, и что есть лишь одна дисциплина — нейробиология, к которой наблюдение обязывает нас добавить, в соответствии со сферой наших интересов, эпитет: человеческая. (Надпись на здании Института психоанализа, выбранная в качестве девиза в 1952 году).

Прежде чем произнести эту речь, нелишним будет рассказать об обстоятельствах ее появления на свет. Ибо она несет на себе их печать.

Тема речи была предложена автору в качестве основы теоретического сообщения для ежегодного съезда, который в течение восемнадцати лет традиционно созывался обществом, представлявшим в те годы французский психоанализ, и проходил под названием «Конгресс франкоязычных психоаналитиков», а затем, в течение последних двух лет, существовал как съезд аналитиков романоязычных (голландский был допущен в порядке языковой терпимости). Конгресс этот должен был состояться в Риме в сентябре 1953 года.

Между тем, возникшие во французской группе серьезные разногласия закончились ее расколом. Поводом для них послужило основание так называемого «института психоанализа». Определенная группа, сумевшая навязать этому учреждению свой устав и свою программу, заявила, что она не позволит выступить в Риме человеку, пытавшемуся вместе со своими сторонниками утвердить в институте иную концепцию, и действительно употребила все доступные средства, чтобы этому выступлению помешать.

Однако создатели успевшего возникнуть к тому времени нового Французского психоаналитического общества не сочли допустимым лишать записавшегося к ним на обучение студенческого большинства запланированного публичного манифеста, равно как и лишать этот манифест предназначенной для него почетной трибуны.

Les sympathies généreuses qui leur vinrent en aide du groupe italien, ne les mettaient pas en posture d'hôtes importuns dans la Ville universelle.

Pour l'auteur de ce discours, il pensait être secouru, quelque inégal qu'il dût se montrer à la tâche de parler de la parole, de quelque connivence inscrite dans ce lieu même.

Il se souvenait en effet, que bien avant que s'y révélât la gloire de la plus haute chaire du monde, Aulu-Gelle, dans ses *Nuits attiques*, donnait au lieu dit du *Mons Vaticanus* l'etymologie de *vagire*, qui désigne les premiers balbutiements de la parole.

Que si donc son discours ne devait être rien de plus qu'un vagissement, au moins prendrait-il là l'auspice de rènover en sa discipline les fondements qu'elle prend dans le langage.

Aussi bien cette rénovation prenait-elle de l'histoire trop de sens pour qu'il ne rompît pas quant à lui avec le style traditionnel qui situe le «rapport» entre la compilation et la synthèse, pour lui donner le style ironique d'une mise en question des fondements de cette discipline.

Puisque ses auditeurs étaient ces étudiants qui attendent de nous la parole, c'est avant tout à leur adresse qu'il a fomenté son discours, et pour renoncer à leur endroit aux règles qui s'observent entre augures de mimer la rigueur par la minutie et de confondre règle et certitude.

Dans le conflit en effet qui les avait menés à la présente issue, on avait fait preuve quant à leur autonomie de sujets, d'une méconnaissance si exorbitante, que l'exigence première en ressortait d'une réaction contre le ton permanent qui avait permis cet excès.

C'est qu'au-delà des circonstances locales qui avaient motivé ce conflit, un vice était venu au jour qui les dépassait de beaucoup. Qu'on ait pu seulement prétendre à régler de façon si autoritaire la formation du psychanalyste, posait la question de savoir si les modes établis de cette formation n'aboutissaient pas à la fin paradoxale d'une minorisation perpétuée.

Certes les formes initiatiques et puissamment organisées où Freud a vu la garantie de la transmission de sa doctrine, se justifient dans la position d'une discipline qui ne peut se survivre qu'à se tenir au niveau d'une expérience intégrale.

Mais n'ont-elles pas mené à un formalisme décevant qui décourage l'initiative en pénalisant le risque, et qui fait du règne de l'opinion

Щедрые симпатии итальянской группы доказали студентам, что в Вечном Городе они отнюдь не являются нежелательными гостями.

Что до автора настоящего доклада, то сколь бы тяжкой ни казалась ему задача держать речь о речи, его не оставляла мысль, что само место подает ему молчаливые знаки сочувствия.

Ведь он помнил, что еще задолго до того, как воссияла в этом месте слава высочайшей кафедры мира, Авл Геллий в своих *Аттических ночах* возводил название этого места, *Mons Vaticanus*, к слову *vagire*, означающему младенческий писк, первые попытки речи.

И даже прозвучав беспомощным криком новорожденного, речь эта могла стать благим предзнаменованием обновления основ нашей дисциплины, укорененной именно в языке.

К тому же обновление это унаследовало от истории слишком много смысла, чтобы не порвать, со своей стороны, с традиционным стилем «доклада» как чего-то среднего между компиляцией и синтезом, сообщив ему иронию, ставящую основы этой дисциплины под вопрос.

Поскольку слушателями доклада были студенты, ждущие от нас слова, мы построили свою речь в расчете именно на них, отказавшись ради этого от принятого между авгурами обычая выдавать мелочность за строгость и путать правило с достоверностью.

В конфликте, который привел к настоящему исходу, автономия их в качестве субъектов игнорировалась, как выяснилось, в такой чудовищной степени, что в первую очередь потребовалось отреагировать на сам тон обращения, сделавший эти злоупотребления возможными.

Дело в том, что за спровоцировавшими конфликт частными обстоятельствами обнаружился порок, далеко выходящий за их рамки. Сами притязания на подобную авторитарность в подготовке психоаналитиков наводят на мысль: а не приводят ли устоявшиеся методы такой подготовки к парадоксальному результату — своего рода увековеченной ущербности?

Разумеется, жестко организованные формы посвящения, в которых Фрейд видел гарантию передачи учения, для дисциплины, которая может выжить, лишь удерживаясь на уровне целостного опыта, являются совершенно оправданными.

Но не обернулись ли они обманчивым формализмом, который, наказывая риск, пресекает тем самым всякую инициативу, а неп-

des doctes le principe d'une prudence docile où l'authenticité de la recherche s'émousse avant de se tarir?

L'extrême complexité des notions mises en jeu en notre domaine fait que nulle part ailleurs un esprit, à exposer son jugement, ne court plus totalement le risque de découvrir sa mesure.

Mais ceci devrait comporter la conséquence de faire notre propos premier, sinon unique, de l'affranchissement des thèses par l'élucidation des principes.

La sélection sévère qui s'impose, en effet, ne saurait être remise aux ajournements indéfinis d'une cooption vétilleuse mais à la fécondité de la production concrète et à l'épreuve dialectique de soutenances contradictoires.

Ceci n'implique de notre fait aucune valorisation de la divergence. Bien au contraire, ce n'est pas sans surprise que nous avons pu entendre au Congrès international de Londres où, pour avoir manqué aux formes, nous venions en demandeurs, une personnalité bien intentionée à notre égard déplorer que nous ne puissions pas justifier notre sécession de quelque désaccord doctrinal. Est-ce à dire qu'une association qui se veut internationale, ait une autre fin que de maintenir le principe de la communauté de notre expérience?

Sans doute est-ce le secret de polichinelle, qu'il y a belle lurette qu'il n'en est plus ainsi, et c'est sans aucun scandale qu'à l'impénétrable M. Zilboorg qui, mettant à part notre cas, insistait pour que nulle sécession ne fût admise qu'au titre d'un débat scientifique, le pénétrant M.Wälder pût rétorquer qu'à confronter les principes où chacun de nous croit fonder son expérience, nos murs se dissoudraient bien vite dans la confusion de Babel.

Nous pensons, quant à nous, que, si nous innovons, ce n'est point de notre goût de nous en faire un mérite.

Dans une discipline qui ne doit sa valeur scientifique qu'aux concepts théoriques que Freud a forgés dans le progrès de son expérience, mais qui, d'être encore mal critiqués et de conserver pour autant l'ambiguïté de la langue vulgaire, profitent de ces résonances non

ререкаемость мнения ученых мужей возводит в принцип, обратной стороной которого является послушная осторожность, обескровливающая и вконец иссушающая всякий подлинно научный поиск?

В силу исключительной сложности понятий, которыми в данной области приходится оперировать, всякий, высказывающий в ней свое суждение, как нигде рискует обнаружить истинный масштаб своих умственных способностей.

Вследствие этого первой, если не единственной нашей задачей, должна была стать выработка независимых тезисов путем прояснения основоположений.

Суровый и неизбежный отбор должен делаться не путем бесконечных проволочек мелочной кооптации, а исходя из плодотворности конкретной продукции и диалектической проработки противоположных позиций.

Это вовсе не значит, будто мы признали за разногласиями самостоятельную ценность. Напротив, не без удивления услышали мы, как на Международном конгрессе в Лондоне, куда, не удовлетворив его формальным требованиям, мы явились в качестве просителей, некое лицо, к нам весьма благожелательно расположенное, выразило сожаление, что в оправдание своего отделения мы не могли сослаться на какие-либо доктринальные разногласия. Значит ли это, что организация, считающая себя интернациональной, имеет какие-то иные цели помимо поддержания принципа общности нашего профессионального опыта?

То, что дела давно уже обстоят иначе, является теперь секретом полишинеля, и в ответ непроницаемому господину Зильборгу, отклонившему нашу просьбу на том основании, что поводом для отделения могут быть исключительно научные разногласия, проницательный господин Вельдер сумел без лишнего скандала возразить, заметив, что поставив под вопрос принципы, которые каждый из нас рассматривает как основу своей деятельности, мы разберем перегородки, хранящие нас от Вавилонской неразберихи.

Мы, со своей стороны, заявляем, что внося что-то новое, мы вовсе не склонны ставить себе это в заслугу.

Поскольку предмет наш обязан своей научной ценностью исключительно тем концепциям, которые были выработаны Фрейдом в ходе его исследований — концепциям еще недостаточно критически проработанным и сохраняющим тем самым двусмысленность вульгарного словоупотребления, которая, идя им на пользу, созда-

sans encourir les malentendus, il nous semblerait prématuré de rompre la tradition de leur terminologie.

Mais il nous semble que ces termes ne peuvent que s'éclaircir à ce qu'on établisse leur équivalence au langage actuel de l'antropologie, voire aux dernier problèmes de la philosohie, où souvent la psychanalyse n'a qu'à reprendre son bien.

Urgente en tout cas nous paraît la tâche de dégager dans des notions qui s'amortissent dans un usage de routine, le sens qu'elles retrouvent tant d'un retour sur leur histoire que d'une réflexion sur leurs fondements subjectifs.

C'est là sans doute la fonction de l'enseigneur, d'où toutes les autres dépendent, et c'est elle où s'inscrit le mieux le prix de l'expérience.

Qu'on la néglige, et le sens s'oblitère d'une action qui ne tient ses effets que du sens, et les règles techniques, à se réduire à des recettes, ôtent à l'expérence toute portée de connaissance et même tout critère de réalité.

Car personne n'est moins exigeant qu'un psychanalyste sur ce qui peut donner son statut à une action qu'il n'est pas loin de considérer lui-même comme magique, faute de savoir où la situer dans une conception de son champ qu'il ne songe guère à accorder à sa pratique.

L'exergue dont nous avons transporté l'ornement à cette préface en est un assez joli exemple.

Aussi bien s'accorde-t-elle à une conception de la formation analytique qui serait celle d'une auto-école qui, non contente de prétendre au privilège singulier de délivrer le permis de conduire, s'imaginerait être en posture de contrôler la construction automobile?

Cette comparaison vaut ce qu'elle vaut, mais elle vaut bien celles qui ont cours dans nos convents les plus graves et qui pour avoir pris naissance dans notre discours aux idiots, n'ont même pas la saveur du canular d'initiés, mais n'en semblent pas moins recevoir valeur d'usage de leur caractère de pompeuse ineptie.

Cela commence à la comparaison que l'on connaît, du candidat qui se laisse entraîner prématurément à la pratique, au chirurgien qui opérerait sans asepsie, et cela va à celle qui incite à pleurer sur ces mal-

ет в то же время опасность лишних недоразумений,— разрыв со сложившейся терминологической традицией представляется нам преждевременным.

Однако нам кажется, что мы только проясним эти термины, если приведем их в соответствие с языком современной антропологии и проблемами новейшей философии, в которых психоанализ зачастую без труда узнает свои собственные.

Так или иначе, обнаружение в понятиях их стершегося в рутинном употреблении смысла, вновь обретаемого ими при постановке их в историческую перспективу и осознании их субъективных оснований, кажется нам задачей первоочередной важности.

Выполнение этой задачи и является той главной функцией наставника, которой определяются все остальные и которая отражает истинную цену аналитического опыта.

Если мы этой задачей пренебрежем, то лишится смысла та деятельность, результат которой только от ее смысла и зависит, а технические приемы окажутся сведены к простым рецептам, что лишит аналитический опыт статуса знания, равно как и всякого критерия реальности.

Ибо в отношении статуса своей деятельности психоаналитик крайне невзыскателен, и, будучи не в состоянии указать ее место внутри концептуального поля, без которого обходится его практика, готов видеть в ней чуть ли не магию.

Украшающий это предисловие эпиграф являет тому недурной пример.

Соответствующая ему программа подготовки психоаналитиков напоминала бы школу водителей, преподаватели которой, не довольствуясь исключительной привилегией на выдачу водительских прав, вообразили бы, будто они вправе сами контролировать производство автомобилей.

Справедливо это сравнение или нет, оно во всяком случае ничуть не хуже тех, что употребительны в самых серьезных наших кругах, но при этом, будучи предназначены нами для болванов, даже по тону своему очень далеки от шутки в кругу посвященных, хотя и успели стать расхожей мудростью ввиду своего велеречиво-бессмысленного характера.

Первым в этом ряду следует известное сравнение преждевременно приступающего к практике кандидата с хирургом, делающим операцию без стерилизации, а замыкается он душещипательным со-

heureux étudiants que le conflit de leurs maîtres déchire comme des enfants dans le divorce de leurs parents.

Sans doute cette dernière née nous paraît s'inspirer du respect qui est dû à ceux qui ont subi en effet ce que nous appellerons, en modérant notre pensée, une pression à l'enseignement qui les a mis à rude épreuve, mais on peut aussi se demander à en entendre le trémolo dans la bouche des maîtres, si les limites de l'enfantillage n'auraient pas été sans préavis reculées jusqu'à la niaiserie.

Les vérités que ces clichés recouvrent, mériteraient pourtant qu'on les soumette à un plus sérieux examen.

Méthode de vérité et de démystification des camouflages subjectifs, la psychanalyse manifesterait-elle une ambition démesurée à appliquer ses principes à sa propre corporation: soit à la conception que les psychanalystes se font de leur rôle auprès du malade, de leur place dans la société des esprits, de leurs relations à leurs pairs et de leur mission d'enseignement?

Peut-être pour rouvrir quelques fenêtres au grand jour de la pensée de Freud, cet exposé soulagera-t-il chez certains l'angoisse qu'engendre une action symbolique quand elle se perd en sa propre opacité.

Quoi qu'il en soit, en évoquant les circonstances de ce discours, nous ne pensons point à excuser ses insuffisances trop évidentes de la hâte qu'il en reçue, puisque c'est de la même hâte qu'il prend son sens avec sa forme.

Aussi bien avons-nous démontré, en un sophisme exemplaire du temps intersubjectif[1], la fonction de la hâte dans la précipitation logique où la vérité trouve sa condition indépassable.

Rien de créé qui n'apparaisse dans l'urgence, rien dans l'urgence qui n'engendre son dépassement dans la parole.

Mais rien aussi qui n'y devienne contingent quand le moment y vient pour l'homme, où il peut identifier en une seule raison le parti qu'il choisit et le désordre qu'il dénonce, pour en comprendre la cohérence dans le réel et anticiper par sa certitude sur l'action qui les met en balance.

поставлением несчастных студентов, сбитых с толку конфликтом среди преподавателей, с детьми, переживающими развод родителей.

Конечно, это последнее сравнение продиктовано, по всей видимости, уважением по отношению к людям, которые на своей шкуре испытали то, что можно деликатно назвать потугами к преподаванию, но в то же время, слушая трели учителей, невольно спрашиваешь себя, не были ли границы инфантильности без предупреждения отодвинуты назад до границы глупости?

И все же истины, скрытые в этих клише, достойны более серьезного изучения.

Не вправе ли психоанализ, будучи методом обнаружения истины и демистификации субъективных камуфляжей, притязать на применение своих принципов и к собственной профессиональной корпорации, то есть к представлению психоаналитиков о своей роли в лечении больного, о своем месте в духовном сообществе, о своих собственных взаимоотношениях и, наконец, о своей образовательной миссии?

Мы надеемся, что открыв несколько окон, выходящих на просторы Фрейдовского учения, доклад этот поможет кому-то избавиться от тревоги, которая порождается символическим действием, когда оно теряется в собственных потемках.

Но как бы то ни было, мы напоминаем об обстоятельствах появления этой речи вовсе не для того, чтобы вынужденной спешкой оправдать его очевидные недостатки, ибо не в меньшей степени чем своей формой обязан он этой спешке и самим своим смыслом.

Однажды, рассматривая характерный софизм интерсубъективного времени [1], мы уже имели случай продемонстрировать функцию спешки в той логической стремительности, что является непреложным условием истины.

Ничто сотворенное не появилось на свет без спешности, и нет в спешности ничего, что не порождало бы в речи свое преодоление.

Но если для человека наступает момент, когда он способен свести сделанный им выбор и обличаемое им нестроение к единой разумной причине, позволяющей ему понять их сочетание в реальном, и уверенностью своей предвосхитить действие, их уравновешивающее, в речи этой ничто случайным уже не станет.

Nous allons déterminer cela pendant que nous sommes encore dans l'aphélie de notre matière car, lorsque nous arriverons au périhélie, la chaleur sera capable de nous la faire oublier.

(LICHTENBERG)

«Flesh composed of suns. How can such be?» exclaim the simple ones.

(R.BROWNING, Parleying with certain people.)

Tel est l'effroi qui s'empare de l'homme à découvrir la figure de son pouvoir qu'il s'en détourne dans l'action même qui est la sienne quand cette action la montre nue. C'est le cas de la psychanalyse. La découverte — prométhéenne — de Freud a été une telle action; son œuv're nous l'atteste; mais elle n'est pas moins présente dans chaque expérience humblement conduite par l'un des ouvriers formés à son école.

On peut suivre à mesure des ans passés cette aversion de l'intérêt quant aux fonction de la parole et quant au champ du langage. Elle motive les «changements de but et de technique» qui sont avoués dans le mouvement et dont la relation à l'amortissement de l'efficacité thérapeutique est pourtant ambiguë. La promotion en effet de la résistance de l'objet dans la théorie et dans la technique, doit être elle-même soumise à la dialectique de l'analyse qui ne peut qu'y reconnaître un alibi du sujet.

Essayons de dessiner la topique de ce mouvement. A considérer cette littérature que nous appelons notre activité scientifique, les problèmes actuels de la psychanalyse se dégagent nettement sous trois chefs:

A) Fonction de l'imaginaire, dirons-nous, ou plus directement des fantasmes dans la technique de l'expérience et dans la constitution de l'objet aux différents stades du développement psychique. L'impulsion

ВВЕДЕНИЕ

«Определить это мы попытаемся теперь же, пока находимся по отношению к своему предмету в афелии, ибо когда мы окажемся в перигелии, то от жары сможем обо всем позабыть».

Лихтенберг

«Flesh composed of suns. How can such be?» explain the simple ones».

Robert Browning.
Parleying with certain people.*

Когда человек открывает лик своего могущества, его охватывает такой ужас, что, снимая с него покров, он одновременно от него отворачивается. Именно так и получилось с психоанализом. Воистину прометеевское открытие Фрейда как раз и было таким двойным жестом; в этом убеждает нас не только его собственное творчество, но и любой скромный психоаналитический опыт воспитанника его школы, где жест этот налицо не в меньшей мере, чем в работах учителя.

С годами прослеживается неуклонное уменьшение интереса к функциям речи и полю языка. Именно оно и является скрытым мотивом уже признанных внутри психоаналитического движения «изменений цели и техники», связь которых с ослаблением терапевтического эффекта остается, тем не менее, неоднозначной. Первоочередное внимание, уделяемое теорией и техникой сопротивлению объекта, должно само подвергнуться диалектике анализа, которая не преминет распознать в нем алиби субъекта.

Попробуем воспроизвести топику происшедшего смещения акцентов. Судя по литературе, которую мы именуем «нашей научной деятельностью», современные проблемы психоанализа можно расположить под тремя рубриками:

А. Функция воображаемого, как я буду называть ее, или, попросту говоря, фантазмов, в технике психоаналитического опыта и в образовании объекта на различных стадиях психического раз-

est venue ici de la psychanalyse des enfants, et du terrain favorable qu'offrait aux tentatives comme aux tentations des chercheurs l'approche des structurations préverbales. C'est là aussi que sa culmination provoque maintenant un retour en posant le problème de la sanction symbolique à donner aux fantasmes dans leur interprétation.

B) Notion des relations libidinales d'objet qui, renouvelant l'idée du progrès de la cure, remanie sourdement sa conduite. La nouvelle perspective a pris ici son départ de l'extension de la méthode aux psychose et de l'ouverture momentanée de la technique à des données de principe différent. La psychanalyse y débouche sur une phénoménologie existentielle, voire sur un activisme animé de charité. Là aussi une réaction nette s'exerce en faveur d'un retour au pivot technique de la symbolisation.

C) Importance du contre-transfert et, corrélativement, de la formation du psychanalyste. Ici l'accent est venu des embarras de la terminaison de la cure, qui rejoignent ceux du moment où la psychanalyse didactique s'achève dans l'introduction du candidat à la pratique. Et la même oscillation s'y remarque: d'une part, et non sans courage, on indique l'être de l'analyste comme élément non négligeable dans les effets de l'analyse et même à exposer dans sa conduite en fin de jeu; on n'en promulgue pas moins énergiquement, d'autre part, qu'aucune solution ne peut venir que d'un approfondissement toujours plus poussé du ressort inconscient.

Ces trois problèmes ont un trait commun en dehors de l'activité de pionniers qu'ils manifestent sur trois frontières différentes avec la vitalité de l'expérience qui les supporte. C'est la tentation qui se présente à l'analyste d'abondonner le fondement de la parole, et ceci justement en des domaines où son usage, pour confiner à l'ineffable, requerrait plus que jamais son examen: à savoir la pédagogie maternelle, l'aide samaritaine et la maîtrise dialectique. Le danger devient grand, s'il y abandonne en outre son langage au bénéfice de langages déjà institués et dont il connaît mal les compensations qu'ils offrent à l'ignorance.

A la vérité on aimerait en savoir plus sur les effets de la symbolisation chez l'enfant, et les mères officiantes dans la psychanalyse, voire

вития. Импульс работам в этой области был придан психоанализом детей и той соблазнительно благоприятной почвой, которую создавало для исследователей открытие доступа к формированию структур на довербальном уровне. Достигнув кульминации, импульс этот провоцирует возврат на прежние позиции, ставя вопрос о том, какую символическую санкцию следует давать фантазмам при их интерпретации.

B. Концепция либидинальных объектных отношений, которая, обновляя идею прогресса лечения, незаметно изменяет способ его ведения. В этой сфере новые перспективы были открыты распространением психоаналитического метода на лечение психозов и использованием в психоаналитической технике данных, имеющих иное происхождение. Психоанализ сближается здесь с экзистенциальной феноменологией; можно даже сказать, с активизмом благотворительности. Здесь также четко прослеживается реакция в пользу возврата к символизации как стержню аналитической техники.

C. Значение контр-переноса и, соответственно, подготовки психоаналитиков. На проблему эту заставили обратить внимание трудности, связанные с окончанием лечения, которые накладываются на другие, аналогичные им, возникающие в тот момент, когда дидактический психоанализ завершается допуском кандидата к практике. Причем в обоих случаях можно наблюдать колебание между двумя позициями: с одной стороны, само существо аналитика довольно смело рассматривается как немаловажный для действенности анализа фактор, который в конце анализа следует признать открыто, с другой же — не менее энергично заявляется, что никакое решение невозможно без глубокого изучения внутренних пружин бессознательного.

Помимо воистину первопроходческой активности, проявляемой ими на трех различных границах с витальностью служащего им опорой психоаналитического опыта, эти три проблемы имеют еще одну общую черту. Дело в том, что каждая из них склоняет аналитика отказаться от речи, служащей анализу фундаментом; причем отказаться в тех самых областях, где, ввиду приближения к невыразимому, ее употребление должно было бы стать предметом особо внимательного исследования; мы имеем ввиду материнское воспитание, помощь в духе доброго самаритянина и овладение мастерством диалектики. И если аналитик к тому же отказывается от собственного языка в пользу других, уже готовых языков, плохо представляя при этом как компенсируют они незнание, опасность становится неминуемой.

О последствиях символизации у ребенка действительно хотелось бы знать поближе, и даже матроны психоанализа — те самые,

celles qui donnent à nos plus hauts conseils un air de matriarcat, ne sont pas à l'abri de cette confusion des langues où Ferenczi désigne la loi de la relation enfant-adulte [2].

Les idées que nos sages se forment de la relation d'objet achevée sont d'une conception plutôt incertaine et, à être exposées, laissent apparaître une médiocrité qui n'honore pas la profession.

Nul doute que ces effets, — où le psychanalyste rejoint le type du héros moderne qu'illustrent des exploits dérisoires dans une situation d'égarement —, ne pourraient être corrigés par un juste retour à l'étude où le psychanalyste devrait être passé maître, des fonctions de la parole.

Mais il semble que, depuis Freud, ce champ centrale de notre domaine soit tombé en friche. Observons combien lui-même se gardait de trops grandes excursions dans sa périphérie: ayant découvert les stades libidinaux de l'enfant dans l'analyse des adultes et n'intervenant chez le petit Hans que par le moyen de ses parents, — déchiffrant un pan entier du langage de l'inconscient dans le délire paranoïde mais n'utilisant pour cela que le texte clef laissé par Schreber dans la lave de sa catastrophe spirituelle. Assumant par contre pour la dialectique de l'œuvre, comme pour la tradition de son sens, et dans toute sa hauteur, la position de la maîtrise.

Est-ce à dire que si la place du maître reste vide, c'est moins du fait de sa disparition que d'une oblitération croissante du sens de son œuvre? Ne suffit-il pas pour s'en convaincre de constater ce qui se passe à cette place?

Une technique s'y transmet, d'un style maussade, voire réticente en son opacité, et que toute aération critique semble affoler. A la vérité, prenant le tour d'un formalisme poussé jusqu'au cérémonial, et tant qu'on peut se demander si elle ne tombe pas sous le coup du même rapprochement avec la névrose obsessionelle, à travers lequel Freud a visé de façon si convaincante l'usage, sinon la genèse, des rites religieux.

L' analogie s'accentue à considérer la littérature que cette activité produit pour s'en nourrir: on y a souvent l'impression d'un curieux circuit fermé, où la méconnaissance de l'origine des termes engendre

что на наших совещаниях самого высокого уровня создают атмосферу матриархата, — не застрахованы от того смешения языков, которым, по мнению Ференци, неизбежно отмечены взаимоотношения взрослого и ребенка [2].

Представления наших мудрецов о завершенном объектном отношении не отличаются определенностью и при изложении своем выдают посредственность, не делающую чести профессии.

Нет сомнения, что последствия эти — в которых психоаналитик выступает в роли современного героя, стяжавшего славу поистине смехотворными и в состоянии умопомрачения совершенными подвигами, — могли бы быть скорректированы надлежащим возвратом к изучению функций речи — деятельности, в которой психоаналитику не должно быть равных.

Создается, однако, впечатление, что после Фрейда эта центральная область наших исследований была основательно запущена. Вспомним, сколь тщательно избегал сам Фрейд каких-либо вылазок на ее окраины: либидинальные стадии детей открыты им путем анализа взрослых, а в случае с маленьким Гансом он действует лишь через посредство его родителей. Для дешифровки целой области языка бессознательного в параноидальном бреде он воспользовался лишь одним ключом — текстом Шребера, который чудом уцелел в вулканических лавах духовной катастрофы автора. Правда, в том, что касается диалектики этого труда и бережной передачи его смысла во всей его возвышенности, Фрейд выступает хозяином положения, мэтром.

Не значит ли это, что если место мэтра пустует, виной тому не столько его уход, сколько все большее забвение смысла его труда? И не достаточно ли, чтобы убедиться в этом, взглянуть, что же собственно на этом месте теперь происходит?

А происходит передача техники — унылой, полной затемняющих дело умолчаний и панически боящейся всякой свежей критики. По сути дела она превратилась в формализм едва ли не церемониальный, так что невольно спрашиваешь себя, не подпадает ли она под категорию обсессивного невроза, с которым Фрейд столь убедительно связывал исполнение, и даже само происхождение религиозных ритуалов?

Аналогия эта лишний раз подтверждается литературой, которую деятельность эта порождает, чтобы в ней же найти себе питательную среду. Создается впечатление, что перед нами любопытный замкнутый круг: непризнание истоков терминов порождает проб-

le problème de les accorder, et où l'effort de résoudre ce problème renforce cette méconnaisance.

Pour remonter aux causes de cette détérioration du discours analytique, il est légitime d'appliquer la méthode psychanalytique à la collectivité qui supporte.

Parler en effet de la perte du sens de l'action analytique, est aussi vrai et aussi vain que d'expliquer la symptôme par son sens, tant que ce sens n'est pas reconnu. Mais l'on sait qu'en l'absence de cette reconnaissance, l'action ne peut être ressentie que comme agressive au niveau où elle se place, et qu'en l'absence des «résistances» sociales où le groupe analytique trouvait à se rassurer, les limites de sa tolérance à sa propre acivité, maintenant «reçue» sinon admise, ne dépendent plus que du taux numérique où se mesure sa présence à l'échelle sociale.

Ces principes suffisent à répartir les conditions symboliques, imaginaires et réelles qui détermineront les défenses, — isolation, annulation, dénégation et généralement méconnaissance —, que nous pouvons reconnaître dans la doctrine.

Dès lors si l'on mesure à sa masse l'importance que le groupe américain a pour le mouvement analytique, on appréciera à leur poids les conditions qui s'y rencontrent.

Dans l'ordre symbolique d'abord, on ne peut négliger l'importance de ce facteur *c* dont nous faisions état au Congrès de Psychiatrie de 1950, comme d'une constante caractéristique d'un milieu culturel donné: condition ici de l'anhistorisme où chacun s'accorde à reconnaître le trait majeur de la «communication» aux U.S.A., et qui à notre sens, est aux antipodes de l'expérience analytique. A quoi s'ajoute une forme mentale très autochtone qui sous le nom de behaviourisme, domine tellement la notion psychologique en Amérique, qu'il est clair qu'elle a désormais tout à fait coiffé dans la psychanalyse l'inspiration freudienne.

Pour les deux autres ordres, nous laissons aux intéressés le soin d'apprécier ce que les mécanismes manifestés dans la vie des sociétés psychanalytiques doivent respectivement aux relations de prestance à l'intérieur du groupe, et aux effets ressentis de leur libre entreprise sur l'ensemble du corps social, ainsi que le crédit qu'il faut faire à la notion soulignée par un de leurs représentants les plus lucides, de la

лему их согласования, а усилия разрешить эту проблему усугубляют исходное непризнание.

Чтобы докопаться до причин ухудшения аналитического дискурса, мы вправе применить психоаналитический метод к сообществу, которое этот дискурс практикует.

Говорить об утрате аналитическим дискурсом своего смысла столь же верно и столь же бесполезно, как объяснять симптом через его смысл, когда смысл этот еще не распознан. Ведь прекрасно известно, что пока он не распознан, деятельность аналитика будет на своем уровне восприниматься не иначе как агрессия и что в отсутствие социальных «сопротивлений», служивших самоутверждению группы, пределы ее терпимости к собственной деятельности — если и не принятой окончательно, то по крайней мере «получившей признание», — зависят лишь от численности, служащей мерой ее присутствия на социальной лестнице.

Принципы эти вполне достаточны для распределения символических, воображаемых и реальных факторов, обуславливающих узнаваемые нами в доктрине защитные механизмы: изоляцию, сведение на нет, отпирательство и непризнание в любой его форме.

Поэтому если значение американской группы психоанализа для аналитического движения измерять ее численностью, достаточно просто определить весомость каждого из этих факторов.

На уровне символического прежде всего нельзя недооценивать важность фактора «С» *, на который мы обратили внимание на Психиатрическом Конгрессе 1950 года и который представляет собой константу, характеризующую данную культурную среду. В данном случае он обуславливает тот антиисторизм, который единодушно признается главной чертой «коммуникации» в США и который нам представляется антиподом психоаналитического опыта. Дело усугубляется той доморощенной формой ментальности, которая под названием бихевиоризма утвердилась в американских понятиях о психологии настолько прочно, что дух Фрейда успел совершенно выветриться из тамошнего психоанализа.

Что касается двух других порядков — воображаемого и реального, — то рассудить, чем действующие в жизни психоаналитических сообществ механизмы обязаны, с одной стороны, отношениям престижа внутри группы и, с другой стороны, наличным результата воздействия свободного предпринимательства в этой области на общество в целом, мы предоставили заинтересованным лицам. Им же предстоит оценить, насколько применимо в данном случае

convergence qui s'exerce entre l'extranéité d'un groupe où domine l'immigrant, et la distanciation où l'attire la fonction qu'appellent les conditions sus-indiquées de la culture.

Il apparaît en tout cas de façon incontestable que la conception de la psychanalyse s'y est infléchie vers l'adaptation de l'individu à l'entourage social, la recherche des pattern de la conduite et toute l'objectivation impliquée dans la notion des *human relations,* et c'est bien une position d'exclusion privilegiée par rapport à l'objet humain qui s'indique dans le terme, né sur place, de *human engineering.*

C'est donc à la distance nécessaire à soutenir une pareille position qu'on peut attribuer l'éclipse dans la psychanalyse, des termes les plus vivants de son expérience, l'inconscient, la sexualité, dont il semble que bientôt la mention même doive s'effacer.

Nous n'avons pas à prendre parti sur le formalisme et l'esprit de boutique, dont les documents officiels du groupe lui-même font état pour les dénoncer. Le pharisien et le boutiquier ne nous intéressent que pour leur essence commune, source des difficultés qu'ils ont l'un et l'autre avec la parole, et spécialement quand il s'agit du *talking shop*, de parler métier.

C'est que l'incommunicabilité des motifs, si elle peut soutenir un magistère, ne va pas de pair avec la maîtrise, celle du moins qu'exige un enseignement. On s'en est aperçu de reste, quand il fallut naguère, pour soutenir sa primauté, faire, pour la forme, au moins une leçon.

C'est pourquoi l'attachement indéfectiblement réaffirmé du même bord pour la technique traditionnelle après bilan des épreuves faites aux champs-frontières plus haut énumérés, ne va pas sans équivoque; elle se mesure à la substitution du terme *classique* à celui d'*orthodoxe* pour qualifier cette technique. On se rattache à la bienséance, faute de savoir sur la doctrine rien dire.

Nous affirmons pour nous que la technique ne peut être comprise, ni donc correctement appliquée, si l'on méconnaît les concepts qui la fondent. Notre tâche sera de démontrer que ces concepts ne prennent

предложенная одним из наиболее проницательных их представителей теория конвергенции между «чужеродным» характером группы, обусловленным преобладанием иммигрантов, и дистанцией, на которую ставят ее от общества упомянутые выше культурные факторы.

В любом случае представляется совершенно очевидным, что в данной концепции психоанализа центр тяжести переносится на адаптацию индивидуума к социальному окружению, на поиск так называемых *patterns*, моделей поведения и прочих объективаций, включаемых в понятие *human relations*. Рожденный в Соединенных Штатах термин *human engineering* как нельзя лучше указывает на привилегированность позиции исключения по отношению к человеческому объекту.

Именно соблюдение дистанции, предполагаемой подобной позицией, и привело к тому, что наиболее живые термины психоаналитического опыта — такие как бессознательное и сексуальность — постепенно уходят в тень, а скоро и вовсе перестанут упоминаться.

Мы не будем вдаваться в формализм и меркантильные разногласия, наличие которых явствует уже из официальных документов самого аналитического сообщества. Фарисей и лавочник интересуют нас лишь постольку, поскольку у них одна сущность, которая и является источником тех трудностей, которые оба испытывают, когда имеют дело с речью, особенно talking shop, т.е. когда речь заходит о делах.

Дело в том, что невозможность передачи мотивации сохраняет позиции мастера, но несовместима с подлинным мастерством — во всяком случае с тем, которое требуется для преподавания психоанализа. Не случайно еще недавно, чтобы сохранить первенство, кое-кому пришлось, хотя бы для проформы, дать по меньшей мере один урок.

Вот почему после суммирования опыта, полученного на всех перечисленных выше фронтах работы, раздающиеся из того же лагеря твердые заверения о приверженности традиционной технике психоанализа звучат довольно двусмысленно: недаром технику эту именуют уже не классической, а ортодоксальной. Приличия соблюдаются тем более тщательно, что о самом учении явно сказать нечего.

Мы со своей стороны утверждаем, что технику нельзя ни понять, ни правильно применить до тех пор, пока не будут правильно поняты лежащие в ее основе концепции. Нашей задачей будет пока-

leur sens plein qu'à s'orienter dans un champ de langage, qu'à s'ordonner à la fonction de la parole.

Point où nous notons que pour manier aucun concept freudien, la lecture de Freud ne saurait être tenue pour superflue, fût-ce pour ceux qui sont homonymes à des notions courantes. Comme le démontre la mésaventure que la saison ramène à notre souvenir d'une théorie des instincts, revue de Freud par un auteur peu éveillé à la part, dite par Freud expressément mythique, qu'elle contient. Manifestement il ne saurait l'être puisqu'il l'aborde par l'ouvrage de Marie Bonaparte qu'il cite sans cesse comme un équivalent du texte freudien et ce sans que rien n'en avertisse le lecteur, se fiant peut-être, non sans raison, au bon goût de celui-ci pour ne pas les confondre, mais n'en prouvant pas moins qu'il ne voit goutte au vrai niveau de la seconde main. Moyennant quoi de réductions en déductions, et d'inductions en hypothèses, l'auteur conclut par la stricte tautologie de ses prémisses fausses: à savoir que les instincts dont il s'agit sont réductibles à l'arc réflexe. Telle la pile d'assiettes dont l'écroulement se distille dans l'exhibition classique, pour ne laisser entre les mains de l'artiste que deux morceaux dépareillés par le fracas, la construction complexe qui va de la découverte des migrations de la libido dans les zones érogènes au passage métapsychologique d'un principe de plaisir généralisé à l'instinct de mort, devient le binôme d'un instinct érotique passif modelé sur l'activité des chercheuses de poux, chères au poète, et d'un instinct destructeur, simplement identifié à la motricité. Résultat qui mérite une mention très honorable pour l'art, volontaire ou non, de pousser à la rigueur les conséquences d'un malentendu.

зать, что свой подлинный смысл эти концепции получают лишь тогда, когда они ориентированы в поле языка и подчинены функции речи.

Здесь следует подчеркнуть, что для работы с любой концепцией Фрейда чтение его текстов будет нелишним, даже если понятиям, имеющим хождение в наши дни, концепция эта просто-напросто омонимична. Это очередной раз доказывает приходящая мне на память история неудачного пересмотра Фрейдовой теории инстинктов, предпринятого автором, не вполне ясно отдававшим себе отчет в откровенно мифическим характере ее содержания. Совершенно очевидно, что он и не мог отдавать себе в этом отчета, поскольку изучал эту теорию по работе Мари Бонапарт, которую он непрерывно цитирует как эквивалент текста самого Фрейда, ни разу не оповещая об этом читателя в расчете, надо полагать, — и отнюдь не слепом — на разборчивость этого последнего, но невольно выдавая при этом полную слепоту в отношении истинного уровня своего вторичного источника. В результате, переходя от редукций к дедукциям, и от индукций к гипотезам, автор приходит к выводу строго тавтологичному его ложным исходным посылкам, а именно, что инстинкты, о которых идет речь, сводятся к рефлекторной дуге. Подобно стопке тарелок, которые бьются в классическом номере мюзик-холла, оставляя в руках артиста лишь два не составляющих целое осколка, вся сложнейшая конструкция, движущаяся от открытия миграций либидо в эрогенных зонах к метафизическому переходу обобщенного принципа удовольствия в инстинкт смерти, превращается вдруг в двучлен из пассивного эротического инстинкта, моделью которому служат любезные поэту * искательницы вшей, и инстинкта разрушения, инденфицируемого просто-напросто с двигательной функцией. Воистину выдающийся результат в искусстве — бог весть, сознательном или нет — доводить до логического конца последствия недоразумения.

1. *Parole vide et parole pleine dans la réalisation psychanalytique du sujet*

Donne en ma bouche parole vraie et estable et fay de moy langue caulte.
(L'i n t e r n e l e c o n s o l a c i o n, XLVe Chapitre: qu'on ne doit pas chascun croire et du legier trebuchement de paroles.)

Cause toujours.
(Devise de la pensée «causaliste»).

Qu'elle se veuille agent de guérison, de formation ou de sondage, la psychanalyse n'a qu'un médium: la parole du patient. L'évidence du fait n'excuse pas qu'on le néglige. Or toute parole appelle réponse.

Nous montrerons qu'il n'est pas de parole sans réponse, même si elle ne rencontre que le silence, pourvu qu'elle ait un auditeur, et que c'est là le cœur de sa fonction dans l'analyse.

Mais si le psychanalyste ignore qu'il en va ainsi de la fonction de la parole, il n'en subira que plus fortement l'appel, et si c'est le vide qui d'abord s'y fait entendre, c'est en lui-même qu'il l'éprouvera et c'est au-delà de la parole qu'il cherchera une réalité qui comble ce vide.

Ainsi en vient-il à analyser le comportement du sujet pour y trouver ce qu'il ne dit pas. Mais pour en obtenir l'aveu, il faut bien qu'il en parle. Il retrouve alors la parole, mais rendue suspecte de n'avoir répondu qu'à la défaite de son silence, devant l'écho perçu de son propre néant.

Mais qu'était donc cet appel du sujet au-delà du vide de son dire? Appel à la vérité dans son principe, à travers quoi vacilleront les appels de besoins plus humbles. Mais d'abord et d'emblée appel propre du vide, dans la béance ambiguë d'une séduction tentée sur l'autre par les moyens où le sujet met sa complaisance et où il va engager le monument de son narcissisme.

I. РЕЧЬ ПУСТАЯ И РЕЧЬ ПОЛНАЯ В ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТА

«Вложи в уста мои слово истинное и твердоеи сдержи язык мой».

(*Внутреннее Утешение*, гл.XV: о том, что не следует верить каждому и о словесной оплошности)

«Говори сколько хочешь»

(Девиз «каузального» мышления)

Чего бы ни добивался психоанализ — исцеления ли, профессиональной подготовки, или исследования — среда у него одна: речь пациента. Очевидность этого факта вовсе не дает нам права его игнорировать. Всякая же речь требует себе ответа.

Мы покажем, что речь, когда есть у нее слушатель, не остается без ответа никогда, даже если в ответ встречает только молчание. В этом, как нам кажется, и состоит самая суть ее функции в анализе.

Ничего об этой функции речи не зная, психоаналитик ощутит ее зов тем сильнее. Расслышав же в этом зове лишь пустоту, он испытает эту пустоту в самом себе, и реальность, способную ее заполнить, станет искать уже по ту сторону речи.

Тем самым он перейдет к анализу поведения субъекта, рассчитывая именно в нем обнаружить то, о чем тот умалчивает. Но чтобы получить от субъекта признание того, что обнаружено, об этом все-таки приходится заговорить. И он вновь прибегает к речи, но речь эта подозрительна уже тем, что служит ответом на неудачу его молчания перед ясно слышимым эхом собственного ничтожества.

Но какой, собственно, призыв раздавался по ту сторону пустоты высказывания субъекта? Это призыв субъекта к истине в ее основании, на фоне которого можно расслышать и позывы потребностей более скромных. Но первоначально и главным образом это зов самой пустоты, двусмысленное зияние которой покушается совратить другого средствами, где субъект прибегает к

«La voilà bien, l'introspection!» s'exclame le prud'homme qui en sait long sur ses dangers. Il n'est certes pas, avoue-t-il, le dernier à en avoir goûté les charmes, s'il en a épuisé le profit. Dommage qu'il n'ait plus de temps à perdre. Car vous en entendriez de belles et de profondes, s'il venait sur votre divan.

Il est étrange qu'un analyste, pour qui ce personnage est une des premières rencontres de son expérience, fasse encore état de l'introspection dans la psychanalyse. Car dès que la gageure est tenue, toutes ces belles choses se dérobent qu'on croyait avoir en réserve. Leur compte, à s'y obliger, paraîtra court, mais d'autres se présentent assez inattendues de notre homme pour lui paraître d'abord sottes et le rendre coi un bon moment. Sort commun [3].

Il saisit alors la différence entre le mirage de monologue dont les fantaisies accomodantes animaient sa jactance, et le travail forcé de ce discours sans échappatoire que le psychologue, non sans humour, et le thérapeute, non sans ruse, ont décoré du nom de «libre association».

Car c'est bien là un travail, et tant un travail qu'on a pu dire qu'il exige un apprentissage, et aller jusqu'à voir dans cet apprentissage la valeur formatrice de ce travail. Mais à le prendre ainsi, que formerait-il d'autre qu'un ouvrier qualifié?

Dès lors, qu'en est-il de ce travail? Examinons ses conditions, son fruit, dans l'espoir d'y voir mieux son but et son profit.

On a reconnu au passage la pertinence du terme *durcharbeiten* auquel équivaut l'anglais *working through*, et qui chez nous a désespéré les traducteurs, encore que s'offrît à eux l'exercice d'épuisement à jamais marqué en notre langue de la frappe d'un maître du style: «Cent fois sur le métier, remettez...», mais comment l'ouvrage progresse-t-il ici?

La théorie nous rappelle la triade: frustration, agressivité, régression. C'est une explication d'aspect si compréhensible qu'elle pourrait bien nous dispenser de comprendre. L'intuition est preste, mais une évidence doit nous être d'autant plus suspecte qu'elle est devenue idée reçue. Que l'analyse vienne à surprendre sa faiblesse, il conviendra de ne pas se payer du recours à l'affectivité. Mot-tabou de

самолюбованию и использует монумент, воздвигнутый собственным нарциссизмом.

«Так вот же она, интроспекция!» — воскликнет наш рассудительный читатель, издалека почуявший грозящие ему опасности. Он охотно признается, что знает толк в ее прелестях, хотя пользы от нее больше никакой не ждет. Жаль, что он не привык терять время. Попади он на ваш диван, вы бы услышали от него немало прекрасного и глубокомысленного.

Непонятно, как психоаналитики, которые уже с первых шагов в своем ремесле обязательно сталкиваются с подобными типами, вообще могут еще придавать какое-то значение интроспекции. Ибо как только пари вступает в силу, все прекрасные слова, что у него вроде бы были в запасе, куда-то пропадают. Счет им оказывается не так уж долог и к его изумлению на место их являются другие, которые поначалу кажутся ему настолько дурацкими, что лишают на некоторое время дара речи. Общая участь [3].

Вот тогда-то он и улавливает разницу между призраком монолога, услужливые фантазии которого воодушевляли его болтовню, и принудительным трудом того не оставляющего лазеек дискурса, который психолог, не без юмора, и терапевт, не без задней мысли, наградили именем «свободной ассоциации».

Ибо это именно труд, и труд настолько серьезный, что его признавали требующим ученичества, и даже усматривали в необходимости ученичества ценность этого труда как формирующего начала. Но что может сформироваться при таком подходе, кроме квалифицированного рабочего?

Так как же следует нам тогда к этой работе относиться? Рассмотрим ее условия и ее плоды в надежде лучше усмотреть ее цель и выгоду.

По ходу дела уже отмечалась уместность термина *durcharbeiten*, которому соответствует английское *working through* и которое приводит в отчаяние наших переводчиков, хотя и дает им случай исполнить навеки отчеканенный в нашем языке завет классика: «спешите медленно» *. Так как же все-таки продвигается работа?

Теория предлагает нам триаду: фрустрация, агрессивность, регрессия. Создается объяснение на вид столь понятное, что от дальнейшей необходимости понимать мы чувствуем себя избавленными. Интуиция проворна, но очевидность, превращаясь в расхожую истину, становится тем более подозрительной. И когда анализ обнаруживает ее слабость, негоже оправдываться ссылкой на «аффективность». Слово это, табуированное диалектической

l'incapacité dialectique qui, avec le verbe *intellectualiser,* dont l'acception péjorative fait de cette incapacité mérite, resteront dans l'histoire de la langue les stigmates de notre obtusion à l'endroit du sujet [4].

Demandons-nous plutôt d'où vient cette frustration? Est-ce du silence de l'analyste? Une réponse, même et surtout approbatrice, à la parole vide montre souvent par ses effets qu'elle est bien plus frustrante que le silence. Ne s'agit-il pas plutôt d'une frustration qui serait inhérente au discours même du sujet? Le sujet ne s'y engage-t-il pas dans une dépossession toujours plus grande de cet être de lui-même, dont, à force de peintures sincères qui n'en laissent pas moins incohérente l'idée, de rectifications qui n'atteignent pas à dégager son essence, d'étais et de défenses qui n'empêchent pas de vaciller sa statue, d'étreintes narcissiques qui se font souffle à l'animer, il finit par reconnaître que cet être n'a jamais été que son œuvre dans l'imaginaire et que cette œuvre déçoit en lui toute certitude. Car dans ce travail qu'il fait de la reconstruire *pour un autre,* il retrouve l'aliénation fondamentale qui la lui a fait construire *comme une autre,* et qui l'a toujours destinée à lui être dérobée *par un autre* [5].

C'est *ego*, dont nos théoriciens définissent maintenant la force par la capacité de soutenir une frustration, est frustration dans son essence [6]. Il est frustration non d'un désir du sujet, mais d'un objet où son désir est aliéné et qui, tant plus il s'élabore, tant plus s'approfondit pour le sujet l'aliénation de sa jouissance. Frustration au second degré donc, et telle que le sujet en ramènerait-il la forme en son discours jusqu'à l'image passivante par où le sujet se fait objet dans la parade du mirroir, il ne saurait s'en satisfaire puisque à atteindre même en cette image sa plus parfaite ressemblence, ce serait encore la jouissance de l'autre qu'il y ferait reconnaître. C'est pourquoi il n'y a pas de réponse adéquate à ce discours, car le sujet tiendra comme de mépris toute parole qui s'engagera dans sa méprise.

L'agressivité que le sujet éprouvera ici n'a rien à faire avec l'agressivité animale du désir frustré. Cette référence dont on se con

беспомощностью, вместе с глаголом «интеллектуализировать», уничижительное употребление коего выдает эту беспомощность за достоинство, навсегда останется в истории языка позорным клеймом нашей глухоты по отношению к субъекту[4].

Посмотрим лучше, от чего возникает эта фрустрация. Может быть, от молчания аналитика? Опыт показывает, что ответ, даже (и в особенности) поощрительный, на пустую речь создает фрустрация гораздо более сильную, нежели молчание. Не коренится ли фрустрация в самом дискурсе субъекта? Создается впечатление, что субъект все более отлучается от «своего собственного существа» и, после честных попыток описать его, отнюдь не увенчивающихся созданием сколько-нибудь связного о нем представления, после всевозможных уточнений, к сущности его нас нимало не приближающих, после напрасных стараний укрепить и защитить его пошатнувшийся статус, после нарциссических объятий, тщащихся вдохнуть в него жизнь, признает, наконец, что «существо» это всегда было всего-навсего его собственным созданием в сфере воображаемого, и что создание это начисто лишено какой бы то ни было достоверности. Ибо в работе, проделанной им по его воссозданию *для другого*, он открывает изначальное отчуждение, заставлявшее конструировать это свое существо *в виде другого*, и тем самым всегда обрекавшее его на похищение этим *другим*[5].

На самом деле *Эго*, силу которого наши нынешние теоретики измеряют его способностью выдержать фрустрация, есть фрустрация по самой своей сути[6]. Это не фрустрация желания субъекта, а фрустрация вызванная самим объектом, в котором его желание отчуждено; и чем больше оформляется этот объект, тем более углубляется отчуждение субъекта от его наслаждения. Перед нами, таким образом, фрустрация во второй степени, причем такая, что даже если субъекту и удастся включить ее форму в свой дискурс, воссоздав тот инертный образ, в котором субъект, отраженный в зеркале, находит себе объект, он все равно не сможет этим удовлетвориться, ибо даже при абсолютном сходстве он сумеет отразить в этом образе лишь желание другого. Это значит, что адекватного ответа на этот дискурс не существует: всякое слово, которое примет его обозначание за чистую монету, субъект сочтет за презрение.

Агрессивность, которую испытывает при этом субъект, не имеет ничего общего с животной агрессивностью фрустрированного же-

2

tente, en masque une autre moins agréable pour tous et pour chacun: l'agressivité de l'esclave qui répond à la frustration de son travail par un désir de mort.

On conçoit dès lors comment cette agressivité peut répondre à toute intervention qui, dénonçant les intentions imaginaires du discours, démonte l'objet que le sujet a construit pour les satisfaire. C'est ce qu'on appelle en effet l'analyse des résistances, dont apparaît aussitôt le dangereux versant. Il est déjà signalé par l'existence du naïf qui n'a jamais vu se manifester que la signification agressive des fantasmes des ses sujets [7].

C'est le même qui, n'hésitant pas à plaider pour une analyse «causaliste» qui viserait à transformer le sujet dans son présent par des explications savantes de son passé, trahit assez jusque dans son ton, l'angoisse qu'il veut s'épargner d'avoir à penser que la liberté de son patient soit suspendue à celle de son intervention. Que l'expédient où il se jette puisse être à quelque moment bénéfique pour le sujet, ceci n'a pas d'autre portée qu'une plaisanterie stimulante et ne nous retiendra pas plus longtemps.

Visons plutôt ce *hic et nunc* où certains croient devoir enclore la manœuvre de l'analyse. Il peut être utile en effet, pourvu que l'intention imaginaire que l'analyste y découvre ne soit pas détachée par lui de la relation symbolique où elle s'exprime. Rien ne doit y être lu concernant le *moi* du sujet, qui ne puisse être réassumé par lui sous la forme du «je», soit en première personne.

«Je n'ai été ceci que pour devenir ce que je puis être»: si telle n'était pas la pointe permanente de l'assomption que le sujet fait de ses mirages, où pourrait-on saisir ici un progrès?

L'analyste dès lors ne saurait traquer sans danger le sujet dans l'intimité de son geste, voire de sa statique, sauf à les réintégrer comme parties muettes dans son discours narcissiques, et ceci a été noté de façon fort sensible, même par de jeunes praticiens.

Le danger n'y est pas de la réaction négative du sujet, mais bien plutôt de sa capture dans une objectivation, non moins imaginaire que devant, de sa statique, voire de sa statue, dans un statut renouvelé de son aliénation.

лания. Отсылка к таковому, которой обычно и удовлетворяются, маскирует другую агрессивность, для всех и каждого гораздо менее приятную: агрессивность раба, отвечающего на фрустрацию от своей работы желанием смерти.

Понятно теперь, как эта агрессивность может отреагировать на любое вмешательство, которое, обнаруживая воображаемые намерения дискурса, демонтирует объект, созданный субъектом для служения им. По сути дела это и называется анализом сопротивлений, причем тут же проявляется его скользкая сторона. О ней предупреждает уже само существование простака-аналитика, который никогда не видел в фантазмах своих субъектов ничего, кроме выражения агрессивности [7].

В таких, как он, без колебания отстаивающих «причинностный» анализ, направленный на трансформацию субъекта в настоящем путем наукообразных объяснений его прошлого, все, вплоть до интонаций, выдает страх перед необходимостью думать, что свобода пациента может зависеть от свободы его вмешательства. Но даже если его предприятие и оказывается в какой-то момент для субъекта благотворным, это всего лишь благотворность хорошей шутки, и задерживаться на этом мы не будем.

Рассмотрим лучше те *hic et nunc*, к которым сводится для некоторых аналитиков все допустимое поле деятельности анализа. Такой подход действительно может принести пользу — при условии, однако, что усматриваемое в них аналитиком воображаемое намерение не отделяется от символического отношения, в котором это намерение выражено. В них нельзя вычитать о «своем Я» субъекта ничего, за что тот не мог бы ответить о себе как «я», т.е. от первого лица.

«Я был этим лишь для того, чтобы стать тем, кем я могу быть» — вот лейтмотив признания субъектов своих фантазий, без которого прогресс был бы неуловим.

Аналитик, таким образом, не может, не подвергая субъект опасности, выследить его в интимном содержании его жестов или статики, не восстановив их в качестве немых частей его нарциссического дискурса — это хорошо известно и отмечалось даже начинающими психоаналитиками.

Опасность же состоит не в отрицательной реакции субъекта, а, скорее, в пленении его новой объективацией, не менее воображаемой чем предыдущая — объективацией его статики, можно даже сказать, его статуарности, в обновленном статусе ее отчуждения.

Tout au contraire l'art de l'analyste doit être de suspendre les certitudes du sujet, jusqu'à ce que s'en consument les derniers mirages. Et c'est dans le discours que doit se scander leur résolution.

Quelque vide en effet qu'apparaisse ce discours, il n'en est ainsi qu'à le prendre à sa valeur faciale: celle qui justifie la phrase de Mallarmé quand il compare l'usage commun du langage à l'échange d'une monnaie dont l'avers comme l'envers ne montrent plus que des figures effacées et que l'on se passe de main en main «en silence». Cette métaphore suffit à nous rappeler que la parole, même à l'extrême de son usure, garde sa valeur de tessère.

Même s'il ne communique rien, le discours représente l'existence de la communication; même s'il nie l'évidence, il affirme que la parole constitue la vérité; même s'il est destiné à tromper, il spécule sur la foi dans le témoignage.

Aussi bien le psychanalyste sait-il mieux que personne que la question y est d'entendre à quelle «partie» de ce discours est confié le terme significatif, et c'est bien ainsi qu'il opère dans le meilleur cas: prenant le récit d'une histoire quotidienne pour un apologue qui à bon entendeur adresse son salut, une longue prosopopée pour une interjection directe, ou au contraire un simple lapsus pour une déclaration fort complexe, voire le soupir d'un silence pour tout le développement lyrique auquel il supplée.

Ainsi c'est une ponctuation heureuse qui donne son sens au discours du sujet. C'est pourquoi la suspension de la séance dont la technique actuelle fait une halte purement chronométrique et comme telle indifférente à la trame du discours, y joue le rôle d'une scansion qui a toute la valeur d'une intervention pour précipiter les moments concluants. Et ceci indique de libérer ce terme de son cadre routinier pour le soumettre à toutes fins utiles de la technique.

C'est ainsi que la régression peut s'opérer, qui n'est que l'actualisation dans le discours des relations fantasmatiques restituées par un *ego* à chaque étape de la décomposition de sa structure. Car enfin cette régression n'est pas réelle; elle ne se manifeste même dans le langage que par des inflexions, des tournures, des «trébuchements si légiers» qu'ils ne sauraient à l'extrême dépasser l'artifice du parler «babyish» chez l'adulte. Lui imputer la réalité d'une relation actuelle à l'objet revient à projeter le sujet dans une illusion aliénante qui ne fait que répercuter un alibi du psychanalyste.

Искусство аналитика должно, напротив, состоять в том, чтобы постепенно лишать субъекта всякой уверенности, пока не рассеются последние призраки ее. И именно с членением дискурса связаны этапы их исчезновения.

Сколь бы пустым дискурс ни казался, он таков лишь на поверхности: вспомним слова Малларме, сравнивавшего повседневное употребление языка с хождением монеты, у которой чеканка на обеих сторонах давно стерлась, и которая переходит из рук в руки «в молчании». Метафоры этой довольно, чтобы напомнить нам, что слово, даже донельзя стертое, сохраняет ценность tesser'а.

Даже ничего не сообщая, дискурс демонстрирует существование коммуникации; даже отрицая очевидность, он утверждает, что слово конструирует истину; даже имея целью обман, он играет на вере в свидетельство.

Психоаналитик знает лучше кого бы то ни было, что самое главное — это услышать, какой «партии» в дискурсе доверен значащий термин; именно так он, в лучшем случае, и поступает, так что история из повседневной жизни оборачивается для него обращенной к имеющему уши слышать притчей; длинная тирада — междометьем; элементарная оговорка, наоборот, — сложным объяснением, а молчаливый вздох — целым лирическим излиянием.

Таким образом, смысл дискурсу субъекта сообщает удачно расставленная пунктуация. Вот почему перерыв сеанса, при нынешней технике отмеряемого чисто хронометрически и совершенно независимо от течения дискурса, есть своего рода ритмическое членение (скандирование), которое успешно играет роль вмешательства, служащего для приближения заключительных моментов. Тем самым конец сеанса выводится из рамок рутинной процедуры и начинает служить полезным задачам техники анализа.

Именно так может происходить регрессия, представляющая собой не что иное, как актуализацию в дискурсе фантазматических отношений, восстанавливаемых *Эго* на каждом очередном этапе разложения своей структуры. Ведь в конечном счете регрессия не реальна; даже в языке она проявляет себя лишь в мельчайших модуляциях, речевых оборотах, и «оплошностях столь легких», что странности в них ничуть не больше, чем в нарочитом детском «сюсюкании» взрослых. Приписать регрессии реальность актуального отношения к объекту значило бы спроецировать субъект в отчуждающую иллюзию, отражающую всего лишь алиби психоаналитика.

C'est pourquoi rien ne saurait plus égarer le psychanalyste que de chercher à se guider sur un prétendu contact éprouvé de la réalité du sujet. Cette tarte à la crème de la psychologie intuitionniste, voire phénoménologique, a pris dans l'usage contemporain une extension bien symptomatique de la raréfaction des effets de la parole dans le contexte social présent. Mais sa valeur obsessionnelle devient flagrante à être promue dans une relation qui, par ses règles mêmes, exclut tout contact réel.

Les jeunes analystes qui s'en laisseraient pourtant imposer par ce que ce recours implique de dons impénétrables, ne trouveront pas mieux pour en rabattre qu'à se référer au succès des contrôles mêmes qu'ils subissent. Du point de vue du contact avec le réel, la possibilité même de ces contrôles deviendrait un problème. Bien au contraire, le contrôleur y manifeste une seconde vue, c'est le cas de le dire, qui rend pour lui l'expérience au moins aussi instructive que pour le contrôlé. Et ceci presque d'autant plus que ce dernier y montre moins de ces dons, que certains tiennent pour d'autant plus incommunicables qu'ils font eux-mêmes plus d'embarras de leurs secrets techniques.

La raison de cette énigme est que le contrôlé y joue le rôle de filtre, voire de réfracteur du discours du sujet, et qu'ainsi est présentée toute faite au contrôleur une stéréographie dégageant déjà les trois ou quatre registres où il peut lire la partition constituée par ce discours.

Si le contrôlé pouvait être mis par le contrôleur dans une position subjective différente de celle qu'implique le terme sinistre de contrôle (avantageusement remplacé, mais seulement en langue anglaise, par celui de *supervision*), le meilleur fruit qu'il tirerait de cet exercice serait d'apprendre à se tenir lui-même dans la position de subjectivité seconde où la situation met d'emblée le contrôleur.

Il y trouverait la voie authentique pour atteindre ce que la classique formule de l'attention diffuse, voire distraite de l'analyste n'exprime que très approximativement. Car l'essentiel est de savoir ce que cette attention vise: assurément pas, tout notre travail est fait pour le démontrer, un objet au-delà de la parole du sujet, comme certains s'as

Вот почему нет для психоаналитика худшей ошибки, нежели руководствоваться мнимым контактом с переживаемой субъектом реальностью. Эта подслащенная пилюля интуиционистской, и даже феноменологической, психологии получила в современном употреблении распространение весьма симптоматичное для оскудения эффектов речи в нынешнем социальном контексте. Но свойственный ей характер навязчивой идеи особенно бросается в глаза, когда она применяется в отношениях, которые по самим правилам своим всякий реальный контакт исключают.

Ну, а чтобы умерить энтузиазм юных аналитиков, находящихся под впечатлением непостижимой одаренности тут предполагаемой, нет ничего лучше как обратиться к результатам контрольных сеансов, которые им пришлось пройти. С точки зрения контакта с реальностью, сама возможность такого контроля стала бы проблемой. Происходит же как раз обратное: контролирующий демонстрирует воистину второе зрение, благодаря которому практика контроля становится для него по меньшей мере столь же поучительной, сколь и для контролирующего. И тем более поучительной, чем меньше этот последний выказывает пресловутых дарований, передачу которых иные аналитики считают тем более невозможной, чем более они кичатся своими техническими секретами.

Смысл этой загадочной ситуации в том, что контролируемый выполняет в ней роль фильтра или рефрактора дискурса субъекта, в результате чего перед контролирующим предстоит готовая стереография, где с самого начала выделены три или четыре регистра, в которых записана создаваемая этим дискурсом партитура.

Если бы контролируемый мог быть помещен контролирующим в субъективную позицию, не совпадающую с той, которую предполагает зловещий термин «контроль» (в английском — но, к сожалению, только в нем — удачно передаваемый термином *supervision*), то самым полезным результатом этого упражнения стало бы для него умение самому занимать ту позицию вторичной субъективности, в которую ситуация с самого начала ставит контролера.

В этой позиции ему удалось бы найти правильный путь к тому, что классический термин «рассеянное внимание аналитика» описывает лишь очень приблизительно. Ведь важно понять, на что это внимание направлено. Цель всей нашей работы — это показать, что она отнюдь не направлена на некий объект по ту сторону речи субъекта, который иные аналитики ставят себе задачей

treignent à ne le jamais perdre de vue. Si telle devait être la voie de l'analyse, c'est sans aucun doute à d'autres moyens qu'elle aurait recours, ou bien ce serait le seul exemple d'une méthode qui s'interdirait les moyens de sa fin.

Le seul objet qui soit à la portée de l'analyste, c'est la relation imaginaire qui le lie au sujet en tant que *moi* et, faute de pouvoir l'éliminer, il peut s'en servir pour régler le débit de ses oreilles, selon l'usage que la psysiologie, en accord avec l'Evangile, montre qu'il est normal d'en faire: des oreilles *pour ne point entendre*, autrement dit pour faire la détection de ce qui doit être entendu. Car il n'en a pas d'autres, ni troisième oreille, ni quatrième, pour une transaudition qu'on voudrait directe de l'inconscient par l'inconscient. Nous dirons ce qu'il faut penser de cette prétendue communication.

Nous avons abordé la fonction de la parole dans l'analyse par son biais le plus ingrat, celui de la parole vide, où le sujet semble parler en vain de quelqu'un qui, lui ressemblerait-il à s'y méprendre, jamais ne se joindra à l'assomption de son désire. Nous y avons montré la source de la dépréciation croissante dont la parole a été l'objet dans la théorie et la technique, et il nous a fallu soulever par degrès, telle une pesante roue de moulin renversée sur elle, ce qui ne peut servir que de volant au mouvement de l'analyse: à savoir les facteurs psychophysiologiques individuels qui, en réalité, restent exclus de sa dialectique. Donner pour but à l'analyse d'en modifier l'inertie propre, c'est se condamner à la fiction du mouvement, où une certaine tendance de la technique semble en effet se satisfaire.

Si nous portons maitenant notre regard à l'autre extrême de l'expérience psychanalytique, — dans son histoire, dans sa casuistique, dans le procès dè la cure, — nous trouverons à opposer à l'analyse du *hic et nunc* la valeur de anamnèse comme indice et comme ressort du progrès thérapeutique, à l'intrasubjectivité obsessionnelle l'intersubjectivité hystérique, à l'analyse de la résistatance l'interprétation symbolique. Ici commence la réalisation de la parole pleine.

Examinons la relation qu'elle constitue.

никогда не терять из виду. Если бы анализ шел этим путем, он либо прибег бы к совсем иным средствам, либо остался бы единственным в своем роде примером метода, воспрещающего себе применять ведущие к собственной же цели средства.

Единственный доступный для аналитика объект — это воображаемое отношение, связывающее его с субъектом в качестве «его *собственного Я*», и, будучи не в силах это отношение исключить, он может воспользоваться им для регулирования пропускной способности своего уха — что физиология, вполне согласная здесь с Евангелием (уши, *чтобы не слышать*), считает процессом вполне естественным, — или, иными словами, для распознавания того, что услышать следует. Ведь других ушей, какого-нибудь третьего или четвертого уха, которое обеспечило бы бессознательному прямой, минующий слух доступ к другому бессознательному, у него нет. О том, как к этой мнимой коммуникации следует относиться, мы в дальнейшем скажем.

Мы подошли к рассмотрению функции речи в анализе с самой неблагодарной ее стороны, со стороны пустой речи, когда субъект производит впечатление говорящего о ком-то другом, кто похож на него до неузнаваемости, но решительно не способен усвоить себе его желание. Мы показали источник все растущего обесценивания речи в теории и практике, и нам пришлось постепенно, шаг за шагом, освобождать ее от того, что давило ее как мельничный жернов, хотя годится в анализе разве что на роль ветряного крыла: речь идет об индивидуальных психофизиологических факторах, которые остаются на деле из диалектики анализа исключенными. Сделать целью анализа изменение свойственной этим факторам силы инерции, значит обречь себя на чистую видимость движения, чем, впрочем, некоторые направления в технике анализа действительно и довольствуются.

Обратив теперь наши взоры на другой полюс психоаналитического опыта — его историю, казуистику, процесс лечения, — мы обнаружим, что анализу *hic et nunc* противостоит здесь ценность припоминания (анамнеза) как показателя и пружины терапевтического прогресса; навязчивой интрасубъективности — истерическая интерсубъективность; анализу сопротивления — символическая интерпретация. Именно здесь начинается реализация наполненной речи.

Рассмотрим полагаемое этой речью отношение.

Напомню, что примененный Брейером и Фрейдом метод лечения, одна из пациентов Брейера, Анна О., с самого начала окрестила

Souvenons-nous que la méthode instaurée par Breuer et par Freud fut, peu après sa naissance, baptisée par l'une des patientes de Breuer, Anna O., du nom de «talking cure». Rappelons que c'est l'expérience inaugurée avec cette hystérique qui les mena à la découverte de l'événement pathogène dit traumatique.

Si cet événement fut reconnu pour être la cause du symptôme, c'est que la mise en parole de l'un (dans les «stories» de la malade) déterminait la levée de l'autre. Ici le terme de prise de conscience emprunté à la théorie psychologique qu'on a aussitôt donnée du fait, garde un prestige qui mérite la méfiance que nous tenons pour de bonne règle à l'endroit des explications qui font office d'évidences. Les préjugés psychologiques de l'époque s'opposaient à ce qu'on reconnût dans la verbalisation comme telle une autre réalité que son *flatus vocis*. Il reste que dans l'état hypnotique elle est dissociée de la prise de conscience et que ceci suffirait à faire réviser cette conception de ses effets.

Mais comment les vaillants de l'*Aufhebung* behaviouriste ne donnent-ils pas ici l'exemple, pour dire qu'ils n'ont pas à connaître si le sujet s'est ressouvenu de quoi que ce soit? Il a seulement raconté l'événement. Nous dirons, quant à nous, qu'il l'a verbalisé, ou pour développer ce terme dont les résonances en français évoquent une autre figure de Pandore que celle de la boîte où il faudrait peut-être le renfermer, il l'a fait passer dans le verbe ou, plus précisément, dans l'*épos* où il rapporte à l'heure présente les origines de sa personne. Ceci dans un langage qui permet à son discours d'être entendu par ses contemporains, et plus encore qui suppose le discours présent de ceux-ci. C'est ainsi que la récitation de l'*épos* peut inclure un discours d'autrefois dans sa langue archaïque, voire étrangère, voire se poursuivre au temps présent avec toute l'animation de l'acteur, mais c'est à la façon d'un discours indirect, isolé entre des guillemets dans le fil du récit et, s'il se joue, c'est sur une scène impliquant la présence non seulement du chœur, mais des spectateurs.

La remémoration hypnotique est sans doute reproduction du passé, mais surtout représentation parlée et comme telle impliquant toutes sortes de présences. Elle est à la remémoration vigile de ce qu'on appelle curieusement dans l'analyse «le matériel», ce que le drame produisant devant l'assemblée des citoyens les mythes originels de la Cité est à l'histoire qui sans doute est faite de matériaux, mais où une na-

термином «talking cure». Заметим, что лечение этой больной истерией как раз и привело к открытию патогенного события, именуемого травматическим.

Событие это был признано причиной симптома на том основании, что словесное упоминание события (в рассказываемых больной stories) вызывало исчезновение симптома. Заимствованный у призванной объяснить этот факт психологической теории термин «осознание» свой престиж сохраняет, но, как и любое слишком очевидное объяснение, вызывает наше справедливое подозрение. Психологические предрассудки эпохи не позволяли признать в вербализации как таковой иную реальность помимо ее *flatus vocis*. Остается фактом, тем не менее, что в гипнотическом состоянии вербализация отделена от осознания, а этого вполне достаточно, чтобы заставить нас пересмотреть концепцию ее последствий.

Не подадут ли нам здесь пример поборники бихевиористского *Aufhebung*, сказав, что их не интересует, вспомнил субъект о чем-нибудь или нет? Он просто рассказывал о событии. Мы, со своей стороны, предпочтем выразиться иначе, и скажем, что он это событие вербализовал, или — раскрывая этот термин, французское звучание которого напоминает о другой фигуре Пандоры *, не имеющей отношения к ящику, куда следовало бы, наверное, этот термин прочно запереть, — что он перевел его в Слово, а точнее в *эпос*, с которым он связывает теперь истоки своей личности. Причем излагает он этот эпос на языке, который позволяет ему быть понятым своими современниками, более того, предполагает наличие их собственного дискурса. Поэтому рассказывание *эпоса* — включает ли оно былой дискурс в его архаичной форме и на чужом языке, или разворачивается с подлинно театральным воодушевлением во времени настоящем — всегда имеет облик косвенной речи, всегда произносится на манер вставленной по ходу рассказа и заключенной в кавычки цитаты; причем если он разыгрывается, то происходит это на сцене, предполагающей присутствие не только хора, но и зрителей.

Гипнотическое припоминание является не просто воспроизведением прошлого, но, самое главное, актуализацией его в речи, что предполагает множество разного рода «присутствий». Оно относится к припоминанию наяву того, что в психоанализе носит курьезное название «материала», точно таким же образом, как драма, разыгрывающая перед собранием сограждан мифы об основании города, относится к истории — созданной, конечно, из

tion de nos jours apprend à lire les symboles d'une destinée en marche. On peut dire dans le langage heideggérien que l'une et l'autre consistuent le sujet comme *gewesend*, c'est-à-dire comme étant celui qui a ainsi été. Mais dans l'unité interne de cette temporalisation, l'étant marque la convergence des ayant été. C'est-à-dire que d'autres rencontres étant supposées depuis l'un quelconque de ces moments ayant été, il en serait issu un autre étant qui le ferait avoir été tout autrement.

L'ambiguïté de la révélation hystérique du passé ne tient pas tant à la vacillation de son contenu entre l'imaginaire et le réel, car il se situe dans l'un et dans l'autre. Ce n'est pas non plus qu'elle soit mensongère. C'est qu'elle nous présente la naissance de la vérité dans la parole, et que par-là nous nous heurtons à la réalité de ce qui n'est ni vrai, ni faux. Du moins est-ce là le plus troublant de son problème.

Car la vérité de cette révélation, c'est la parole présente qui en témoigne dans la réalité actuelle et qui la fonde au nom de cette réalité. Or dans cette réalité, seule la parole témoigne de cette part des puissances du passé qui a été écartée à chaque carrefour où l'événement a choisi.

C'est pourquoi la condition de continuité dans l'anamnèse, où Freud mesure l'intégrité de la guérison, n'a rien à faire avec le mythe bergsonien d'une restauration de la durée où l'authenticité de chaque instant serait détruite de ne pas résumer la modulation de tous les instants antécédents. C'est qu'il ne s'agit pour Freud ni de mémoire biologique, ni de sa mystification intuitionniste, ni de la paramnésie du symptôme, mais de remémoration, c'est-à-dire d'histoire, faisant reposer sur le seul couteau des certitudes de date la balance où les conjectures sur le passé font osciller les promesses du futur. Soyons catégorique, il ne s'agit pas dans l'anamnèse psychanalytique de réalité, mais de vérité, parce que c'est l'effet d'une parole pleine de réordonner les contingences passées en leur donnant le sens des nécessités à venir, telles que les constitue le peu de liberté par où le sujet les fait présentes.

материалов — в которой нации наших дней учатся читать символы своей еще не пришедшей к развязке судьбы. Воспользовавшись языком Хайдеггера, можно сказать, что и то, и другое припоминание формируют субъект как *gewesend*, т.е. как сущий тем, кто таким-то образом был. Но во внутреннем единстве этой темпорализации сущее знаменует конвергенцию бывших. Это означает, что если бы со времени одного из «бывших» моментов успели бы произойти какие-то другие встречи, результатом стало бы другое сущее, которое и «бывшее» это заставило бы сбыться иначе.

Двусмысленность истерического разоблачения прошлого объясняется вовсе не витанием его содержания где-то между воображаемым и реальным, ибо оно равно принадлежит и тому, и другому. Лживым его тоже не назовешь. Дело в том, что оно показывает, как рождается в речи истина, и тем самым сталкивает нас с реальностью того, что ни истинным, ни ложным не является. Во всяком случае именно здесь проблема задевает нас за живое.

Именно наличная в настоящем речь свидетельствует об истинности этого разоблачения в наличной реальности и во имя реальности эту истинность обосновывает. Однако единственным свидетелем той части сил прошлого, которая на каждом из перекрестков, где событие совершало свой выбор, оказывалась отстраненной, остается в этой реальности тоже речь.

Вот почему условие непрерывности в анализе, служившее для Фрейда мерой полноты исцеления, не имеет ничего общего с Бергсоновским мифом восстановления длительности, в которой подлинность каждого из моментов оказалась бы нарушена, если бы она не итожила в себе модуляции всех предшествовавших моментов. Не о биологической памяти, не об интуитивистской мистификации, и не о парамнезе симптома идет речь у Фрейда, а о припоминании, т.е. об истории, в которой на тонком острии достоверных датировок балансируют в неустойчивом равновесии предположения о прошлом и обещания на будущее. Будем категоричны: в психоаналитическом анамнезе речь идет не о реальности, а об истине, ибо действие полной речи состоит в том, что она упорядочивает случайности прошлого, давая им смысл грядущей неизбежности, предстоящей в том виде, в котором конституирует ее та толика свободы, посредством которой субъект полагает ее в настоящем.

Les méandres de la recherche que Freud poursuit dans l'exposé du cas de «l'homme aux loups» confirment ces propos pour y prendre leur plein sens.

Freud exige une objectivation totale de la preuve tant qu'il s'agit de dater la scène primitive, mais il suppose sans plus toutes les resubjectivations de l'événement qui lui paraissent nécessaires à expliquer ses effets à chaque tournant où le sujet se restructure, c'est-à-dire autant de restructurations de l'événement qui s'opèrent, comme il s'exprime: *nachträglich*, après coup [8]. Bien plus avec une hardiesse qui touche à la désinvolture, il déclare tenir pour légitime d'élider dans l'analyse des processus les intervalles de temps où l'événement reste latent dans le sujet [9]. C'est-à-dire qu'il annule les *temps pour comprendre* au profit des *moments de conclure* qui précipitent la méditation du sujet vers le sens à décider de l'événement originel.

Notons que *temps pour comprendre* et *moment de conclure* sont des fonctions que nous avons définies dans un théorème purement logique [10], et qui sont familières à nos élèves pour s'être démontrées très propices à l'analyse dialectique par où nous les guidons dans le procès d'une psychanalyse.

C'est bien cette assomption par le sujet de son histoire, en tant qu'elle est constituée par la parole adressée à l'autre, qui fait le fond de la nouvelle méthode à quoi Freud donne le nom de psychanalyse, non pas en 1904, comme l'enseignait naguère une autorité qui, pour avoir rejeté le manteau d'un silence prudent, apparut ce jour-là ne connaître de Freud que le titre de ses ouvrages, mais bien en 1895 [11].

Pas plus que Freud, nous ne nions, dans cette analyse du sens de sa méthode, la discontinuité psycho-physiologique que manifestent les états où se produit le symptôme hystérique, ni que celui-ci ne puisse être traité par des méthodes, — hypnose, voire narcose —, qui reproduisent la discontinuité de ces états. Simplement, et aussi expressément qu'il s'est interdit à partir d'un certain moment d'y recourir, nous désavouons tout appui pris dans ces états, tant pour expliquer le symptôme que pour le guérir.

Car si l'originalité de la méthode est faite des moyens dont elle se prive, c'est que les moyens qu'elle se réserve suffisent à constituer un

Извилистый путь поисков, пройденный Фрейдом в исследовании, посвященном «человеку с Волками», подтверждает сказанное, обретая в нем полноту смысла.

Когда речь идет о датировке первосцены, Фрейд требует полной объективации доказательства. Зато все ресубъективации события, которые представляются ему необходимыми для объяснения его последствий при каждом повороте, на котором субъект перестраивает свою структуру, т.е. весь ряд перестроек структуры события, происходящих, как он выражается, *nachträglich*, задним числом, он допускает безоговорочно [8]. Больше того, со смелостью, граничащей с безрассудством, он считает дозволенным опустить при анализе процессов те временные интервалы, в которых событие пребывает у субъекта в латентном состоянии [9]. Это значит, что он каждый раз аннулирует «время для понимания» в пользу «момента заключения», подталкивающего мысль субъекта к решению о смысле первоначального события.

Отметим, что «время для понимания» и «момент заключения» являются функциями, которые мы определили в теореме чисто логической [10], и которые хорошо знакомы нашим ученикам как необычайно удобные для диалектического разбора, служащего им руководством в процессе психоанализа.

Именно усвоение субъектом своей истории в том виде, в котором она воссоздана адресованной к другому речью, и положено в основу нового метода, которому Фрейд дал имя психоанализа — не в 1904 году, как утверждала до недавнего времени одна знаменитость, которая, неосторожно сняв покров молчания, обнаружила, что читала у Фрейда разве что заголовки, а в 1895 [11].

Анализируя смысл этого метода мы, как и Фрейд, не отрицаем психофизиологической прерывности, которую демонстрируют порождающие симптом истерии состояния, как не отрицаем мы и возможность лечения этого симптома методами, воспроизводящими прерывность этих состояний — гипнозом, и даже наркозом. Просто поскольку начиная с какого-то момента Фрейд категорически отказался от обращения к ним, мы столь же категорически не доверяем всякой попытке опереться на эти состояния как для объяснения симпотома, так и для его исцеления.

Ибо если оригинальность метода состоит в средствах, которыми он воспрещает пользоваться, то это объясняется тем, что средства, которые он считает допустимыми, достаточны для образования

domaine dont les limites définissent la relativité de ses opérations.

Ses moyens sont ceux de la parole en tant qu'elle confère aux fonctions de l'individu un sens; son domaine est celui du discours concret en tant que champ de la réalité transindividuelle du sujet; ses opérations sont celles de l'histoire en tant qu'elle constitue l'émergence de la vérité dans le réel.

Premièrement en effet, quand le sujet s'engage dans l'analyse, il accepte une position plus constituante en elle-même que toutes les consignes dont il se laisse plus ou moins leurrer; celle de l'interlocution, et nous ne voyons pas d'inconvénient à ce que cette remarque laisse l'auditeur interloqué. Car ce nous sera l'occasion d'appuyer sur ce que l'allocution du sujet y comporte un allocutaire [12], autrement dit que le locuteur [13] s'y constitue comme intersubjectivité.

Secondement, c'est sur le fondement de cette interlocution, en tant qu'elle inclut la réponse de l'interlocuteur, que le sens se délivre pour nous de ce que Freud exige comme restitution de la continuité dans les motivations du sujet. L'examen opérationnel de cet objectif nous montre en effet qu'il ne se satisfait que dans la continuité intersubjective du discours où se constitue l'histoire du sujet.

C'est ainsi que le sujet peut vaticiner sur son histoire sous l'effet d'une quelconque de ces drogues qui endorment la conscience et qui ont reçu de notre temps le nom de «sérums de vérité», où la sûreté dans le contresens trahit l'ironie propre du language. Mais la retransmission même de son discours enregistré, fût-elle faite par la bouche de son médecin, ne peut, de lui parvenir sous cette forme aliénée, avoir les mêmes effets que l'inerlocution psychanalytique.

Aussi c'est dans la position d'un troisième terme que la découverte freudienne de l'inconscient s'éclaire dans son fondement véritable et peut être formulée de façon simple en ces termes:

L'inconscient est cette partie du discours concret en tant que transindividuel, qui fait défaut à la disposition du sujet pour rétablir la continuité de son discours conscient.

Ainsi disparaît le paradoxe que présente la notion de l'inconscient, si on la rapporte à une réalité individuelle. Car la réduire à la tendance inconsciente n'est résoudre le paradoxe, qu'en éludant l'expérience

области, чьи границы определяют относительность его действенности.

Средства, допускаемые этим методом, сводятся к речи, поскольку эта последняя сообщает действиям индивида смысл; область его — это область конкретного дискурса как поля трансиндивидуальной реальности субъекта; его действенность — действенность истории, поскольку в ней происходит возникновение истины в реальном.

Начнем с того, что субъект, приступая к анализу, соглашается тем самым занять позицию, которая уже сама по себе является более конструктивной, нежели все правила, которыми он в той или иной мере позволяет себя опутать: он соглашается потолковать. И не будет ничего страшного, если это замечание собьет слушателя с толку, ибо это дает нам повод настоять на том, что обращение субъекта, согласившегося потолковать, предполагает своего толкователя [12] ; другими словами, что говорящий [13] конституируется тем самым как интерсубъективность.

Во-вторых, именно на основе этой беседы , поскольку она включает ответ собеседника, проясняется для нас смысл требования Фрейда восстановить непрерывность мотиваций субъекта. Операционный анализ этого требования и в самом деле показывает нам, что оно может быть удовлетворено лишь внутри интерсубъективной непрерывности того дискурса, в котором история субъекта конституируется.

Так, субъект вполне может разглагольствовать о своей истории под влиянием одного из тех наркотиков, которые усыпляют сознание и именуются теперь «сывороткой истины»; в откровенно нелепом названии этом звучит свойственная самому языку ирония. Но передача записанной речи, даже услышанная из уст лечащего врача, не может, уже в силу отчужденности своей формы, произвести то же действие, что и психоаналитическая беседа.

Итак, только с введением третьего термина фрейдовское открытие бессознательного проясняется в своих истинных основаниях и может быть просто сформулировано в следующих выражениях: бессознательное есть та часть конкретного трансиндивидуального дискурса, которой не хватает субъекту для восстановления непрерывности своего сознательного дискурса.

Таким образом, исчезает парадокс, неизбежно проявляющийся в понятии бессознательного, если относить это последнее к какой-то индивидуальной реальности. Ведь разрешить этот парадокс сводя

Freud, la lecture de Freud est préférable à celle de M. Fenichel, pourra se rendre compte à l'entreprendre, que ce que nous venons d'exprimer est si peu original, même dans sa verve, qu'il n'y a apparaît pas une seule métaphore que l'œuvre de Freud ne répète avec la fréquence d'un motif où transparaît sa trame même.

Il pourra dès lors plus facilement toucher, à chaque instant de sa pratique, qu'à l'instar de la négation que son redoublement annule, ces métaphores perdent leur dimension métaphorique, et il reconnaîtra qu'il en est ainsi parce qu'il opère dans le domaine propre de la métaphore qui n'est que le synonyme du déplacement symbolique, mis en jeu dans le symptôme.

Il jugera mieux après cela du déplacement imaginaire qui motive l'œuvre de M. Fenichel, en mesurant la différence de consistance et d'efficacité technique, entre la référence aux stades prétendus organiques du développment individuel et la recherche des événements particuliers de l'histoire d'un sujet. Elle est exactement celle qui sépare la recherche historique authentique des prétendues lois de l'histoire dont on peut dire que chaque époque trouve son philosophe pour les répandre au gré des valeurs qui y prévalent.

Ce n'est pas dire qu'il n'y ait rien à retenir des differents sens découverts dans la marche générale de l'histoire au long de cette voie qui va de Bossuet (Jacques-Bénigne) à Toynbee (Arnold) et que ponctuent les édifices d'Auguste Comte et de Karl Marx. Chacun sait certes qu'elles valent aussi peu pour orienter la recherche sur un passé récent que pour présumer avec quelque raison des événements du lendemain. Au reste sont-elles assez modestes pour repousser à l'après-demain leurs certitudes, et pas trop prudes non plus pour admettre les retouches qui permettent de prévoir ce qui est arrivé hier.

Si leur rôle donc est assez mince pour le progrès scientifique, leur intérêt pourtant se situe ailleurs: il est dans leur rôle d'idéaux qui est considérable. Car il nous porte à distinguer ce qu'on peut appeler les fonctions primaire et secondaire de l'historisation.

Car affirmer de la psychanalyse comme de l'histoire qu'en tant que sciences elles sont des sciences du particulier, ne veut pas dire que les

пропагандировать — что для понимания Фрейда лучше читать Фрейда, чем г-на Фенишеля, сможет, осуществляя ее на практике, легко убедиться, что все сказанное здесь даже по духу своему столь мало оригинально, что не содержит ни единой метафоры, которая не повторялась бы в работах Фрейда с частотой лейтмотива, проливающего свет на самый замысел их.

В дальнейшем он на каждом шагу своей практики без труда убедится в том, что подобно отрицанию, которое удвоением аннулируется, метафоры эти теряют свой метафорический смысл; а убедившись, поймет и причину этого, заключающуюся в том, что он работает в собственной сфере метафоры, которая есть лишь синоним включенного в механизм симптома символического смещения.

Ну, а после этого он лучше сможет оценить и воображаемое смещение, мотивирующее труды г-на Фенишеля, измерив разницу в основательности и технической эффективности между отсылками к мнимо-органическим стадиям индивидуального развития, с одной стороны, и исследованием отдельных конкретных событий истории субъекта, с другой. Разница здесь та же, что между подлинным историческим исследованием и пресловутыми законами истории; прекрасно известно, что в каждую эпоху находится философ, выводящий их из преобладающих в эту эпоху ценностей.

Это не значит, что в многообразных смыслах, обнаруженных в общем ходе истории на пути от Боссюэ (Жака-Бенина) до Тойнби (Арнольда), вехами на котором служат творения Огюста Конта и Карла Маркса, ничего достойного внимания не найдется. Всякому ясно, конечно, что для ориентировки исследований в области ближайшего прошлого, равно как и для сколь-нибудь осмысленных предположений о ближайшем будущем, от таких знаков одинаково мало толку. Они достаточно скромны, чтобы откладывать свою достоверность на послезавтра, и не столь щепетильны, чтобы не допускать ретушировки событий, позволяющей успешно предвидеть происходившее вчера.

Но если для научного прогресса польза от них невелика, то в другом отношении они действительно интересны и заключается этот интерес в той существенной роли, которую они играют в качестве идеалов. Она-то и заставляет нас провести различие между первичной и вторичной функциями историзации.

Характеризуя психоанализ и историю как науки, посвященные изучению особенного, мы вовсе не утверждаем, будто факты, с которыми они имеют дело, совершенно случайны или произвольны

faits auxquels elles ont affaire soient purement accidentels, sinon factices, et que leur valeur ultime se réduise à l'aspect brut du trauma.

Les événements s'engendrent dans une historisation primaire, autrement dit l'histoire se fait déjà sur la scène où on la jouera une fois écrite, au for interne comme au for extérieur.

A telle époque, telle émeute dans le faubourg Saint-Antoine est vécue par ses acteurs comme victoire ou défaite du Parlement ou de la Cour; à telle autre, comme victoire ou défaite du prolétariat ou de la bourgeoisie. Et bien que ce soit «les peuples» pour parler comme Retz, qui toujours en soldent les frais, ce n'est pas du tout le même événement historique, — nous voulons dire qu'elles ne laissent pas la même sorte de souvenir dans la mémoire des hommes.

A savoir qu'avec la disparition de la réalité du Parlement et de la Cour, le premier événement retournera à sa valeur traumatique susceptible d'un progressif et authentique effacement, si l'on ne ranime expressément son sens. Tandis que le souvenir du second restera fort vif même sous la censure, — de même que l'amnésie du refoulement est une des formes les plus vivantes de la mémoire —, tant qu'il y aura des hommes pour soumettre leur révolte à l'ordre de la lutte pour l'avènement politique du prolétariat, c'est-à-dire des hommes pour qui les mots clefs du matérialisme dialectique auront un sens.

Dès lors ce serait trop dire que nous allions reporter ces remarques sur le champ de la psychanalyse puisqu'elles y sont déjà, et que la désintrication qu'elles y produisent entre la technique de déchiffrage de l'inconscient et la théorie des instincts, voire des pulsions, va de soi.

Ce que nous apprenons au sujet à reconnaître comme son inconscient, c'est son histoire, — c'est-à-dire que nous l'aidons à parfaire l'historisation actuelle des faits qui ont déterminé déjà dans son existence un certain nombre de «tournants» historiques. Mais s'ils ont eu ce rôle, c'est déjà en tant que faits d'histoire, c'est-à-dire en tant que reconnus dans un certain sens ou censurés dans un certain ordre.

Ainsi toute fixation à un prétendu stade instinctuel est avant tout stigmate historique: page de honte qu'on oublie ou qu'on annule, ou page de gloire qui oblige. Mais l'oublié se rappelle dans les actes, et

ны, а все значение их сводится в конце концов к травме в ее первозданном виде.

События зарождаются в первичной историзации; другими словами, история создается уже на сцене, где, будучи однажды записана, она тут же разыгрывается перед взорами совести, с одной стороны, и правосудия, с другой.

В некую эпоху некий бунт в предместье Сент-Антуан переживается его актерами-участниками как победа или как поражение Парламента или Двора, в другую — как победа или поражение пролетариата и буржуазии. И хотя, в любом случае, расплачиваются за все говоря языком Ретца, «народы», перед нами совершенно разные исторические события — мы хотим сказать, что в памяти людей они оставят совершенно различный след.

Дело в том, что с исчезновением реальности Парламента и Двора первое событие вновь уподобится травме, которая, если не тревожить специально ее первоначального смысла, способна к постепенному и подлинному заживанию. В то время как память о втором останется живой даже в условиях цензуры — подобно амнезии вытеснения, которая представляет собой одну из самых цепких форм памяти — и останется до тех пор, пока существуют люди, готовые подчинить свой бунт борьбе за выход рабочего класса на политическую сцену, т.е. люди, для которых ключевые слова диалектического материализма имеют смысл.

Утверждать, будто я собираюсь перенести эти замечания на сферу психоанализа, пожалуй, излишне, поскольку они и так имеют к ней самое прямое отношение, а путаница между техникой расшифровки бессознательного и теорией инстинктов и влечений устраняется благодаря им сама собой.

То, что мы приучаем субъекта рассматривать как бессознательное — это его история. Другими словами, мы помогаем ему осуществить сегодняшнюю историзацию фактов, уже обусловивших какое-то количество исторических «поворотов» в его существовании. Но роль эту они смогли сыграть лишь в качестве фактов уже исторических, т.е. в определенном смысле признанных, или в определенном порядке подвергшихся цензуре.

Таким образом, всякая фиксация на так называемой инстинктивной стадии представляет собой оставленный историей шрам: либо страницу стыда, которую забывают или зачеркивают, либо страницу славы, которая обязывает. Но забытое дает о себе знать в действиях, зачеркнутое сопротивляется тому, что говорится где-то

l'annulation s'oppose à ce qui se dit ailleurs, comme l'obligation perpétue dans le symbole le mirage même où le sujet s'est trouvé pris.

Pour dire bref, les stades instinctuels sont déjà quand ils sont vécus, organisés en subjectivité. Et pour dire clair, la subjectivité de l'enfant qui enregistre en victoires et en défaites le geste de l'éducation de ses sphincters, y jouissant de la sexuliasation imaginaire de ses orifices cloacaux, faisant agression de ses expulsions excrémentielles, séduction de ses rétentions, et symboles de ses relâchements, cette subjectivité *n'est pas fondamentalement différente* de la subjectivité du psychanalyste qui s'essaie à restituer pour les comprendre les formes de l'amour qu'il appelle prégénital.

Autrement dit, le stade anal n'est pas moins purement historique quand il est vécu que quand il est repensé, ni moins purement fondé dans l'intersubjectivité. Par contre, son homologation comme étape d'une prétendue maturation instinctuelle mène tout droit les meilleurs esprits à s'égarer jusqu'à y voir la reproduction dans l'ontogénèse d'un stade du phylum animal qu'il faut aller chercher aux ascaris, voire aux méduses, spéculation qui, pour être ingénieuse sous la plume d'un Balint, mène ailleurs aux rêveries les plus inconsistantes, voire à la folie qui va chercher dans le protiste le schème imaginaire de l'effraction corporelle dont la crainte commanderait la sexualité féminine. Pourquoi dès lors ne pas chercher l'image du *moi* dans la crevette sous le prétexte que l'un et l'autre retrouvent après chaque mue leur carapace?

Un nommé Jaworski, dans les années 1910-1920, avait édifié un fort beau système où «le plan biologique» se retrouvait jusqu'aux confins de la culture et qui précisément donnait à l'ordre des crustacés son conjoint historique, si mon souvenir est bon, dans quelque tardif Moyen Age, sous le chef d'une commune floraison de l'armure, — ne laissant veuve au reste de son répondant humain nulle forme animale, et sans en excepter mollusques et punaises.

L'analogie n'est pas la métaphore, et recours qu'y ont trouvé les philosophes de la nature, exige le génie d'un Gœthe dont l'exemple même n'est pas encourageant. Aucun ne répugne plus à l'esprit de notre discipline, et c'est en s'en éloignant expressément que Freud a ouvert la voie propre à l'interprétation des rêves, et avec elle à la notion du symbolisme analytique. Cette notion, nous le disons, va stri-

в другом месте, а обязательство увековечивает в символе ту самую иллюзию, у которой субъект оказался в плену.

Короче говоря, инстинктивные стадии уже в самом процессе их переживания организованы в субъективность. Другими словами, субъективность ребенка, запоминающего движение сфинктеров как победу или поражение, тут же наслаждающегося воображаемой сексуализацией отверстий своих клоак, превращающего испражнение в акт агрессии, удержание в попытку соблазна, а расслабление в символ, *по сути ничем не отличается* от субъективности аналитика, пытающегося понять, и с этой целью восстановить, формы любви, которую он называет прегенитальной.

Другими словами, анальная стадия, когда она переживается, ничуть не менее исторична, нежели когда она задним числом продумывается; в обоих случаях основание ее всецело принадлежит интерсубъективности. Признание же ее этапом пресловутого созревания инстинктов даже лучшие умы настолько сбивает с толку, что они начинают видеть в этой стадии воспроизведение в онтогенезе стадии животного phylum, искать которую следует у аскарид и даже у медуз — соображение, которое под пером Балинта выглядит изобретательно, но у прочих превращается уже в бессвязный бред, в некое безумие, пытающееся, скажем, в простейших организмах обнаружить воображаемую схему проникновения в тело, страх перед которым якобы обуславливает женскую сексуальность. Что мешает тогда усмотреть образ «Я» в креветке, на том основании, что и «Я», и креветка после очередной линьки облекаются в новый панцирь?

В 1910-1920 некто по имени Яворский построил замечательной красоты систему, в которой «биологический план» распространялся на всю сферу культуры, и где ракообразные получали свою историческую параллель, если не ошибаюсь, в позднем средневековье, ввиду широкого распространения в эту эпоху панцирных доспехов — систему, не оставившую ни одну животную форму, включая клопов и моллюсков, без своей человеческой аналогии.

Но аналогия не метафора, и чтобы строить на ней натурфилософию, нужен гений Гете, пример которого тоже, впрочем, не слишком вдохновляет. Что до нашей дисциплины, то нет примера, ее духу более чуждого; только отмежевавшись от него удалось Фрейду открыть верный путь толкования снов и прийти к понятию аналитического символизма. Понятие это — мы подчеркиваем — идет прямо вразрез с аналогическим мышлени-

element à l'encontre de la pensée analogique dont une tradition douteuse fait que certains même parmi nous, la tiennent encore pour solidaire.

C'est pourquoi les excès dans le ridicule doivent être utilisés pour leur valeur dessillante, car, pour ouvrir les yeux sur l'absurdité d'une théorie, ils les ramèneront sur des dangers qui n'ont rien de théorique.

Cette mythologie de la maturation instinctuelle, bâtie avec des morceaux choisis de l'œuvre de Freud, engendre en effet des problèmes spirituels dont la vapeur condensée en idéaux de nuée irrigue en retour de ses ondées le mythe originel. Les meilleures plumes distillent leur encre à poser des équations qui satisfassent aux exigences du mystérieux *genital love* (il y a des notions dont l'étrangeté s'accomode mieux de la parenthèse d'un terme emprunté, et elles paraphent leur tentative par un aveu de *non liquet*). Personne pourtant ne paraît ébranlé par la malaise qui en résulte, et l'on y voit plutôt matière à encourager tous les Münchhausen de la normalisation psychanalytique à se tirer par les cheveux dans l'espoir d'atteindre au ciel de la pleine réalisation de l'objet génital, voire de l'objet tout court.

Si nous, psychanalystes, sommes bien placés pour connaître le pouvoir des mots, ce n'est pas une raison pour le faire valoir dans le sens de l'insoluble, ni pour «lier des fardeaux pesants et insupportables pour en accabler les épaules des hommes», comme s'exprime la malédiction du Christ aux pharisiens dans le texte de saint Matthieu.

Ainsi la pauvreté des termes où nous tentons d'inclure un problème subjectif, peut-elle laisser à désirer à des esprits exigeants, pour peu qu'ils les comparent à ceux qui structuraient jusque dans leur confusion les querelles anciennes autour de la Nature et de la Grâce [14]. Ainsi peut-elle leur laisser à craindre quant à la qualité des effets psychologiques et socioligoques qu'on peut attendre de leur usage. Et l'on souhaitera qu'une meilleure appréciation des fonctions du *logos* dissipe les mystères de nos charismes fantastiques.

Pour nous en tenir à une tradition plus claire, peut-être entendrons-nous la maxime célèbre où La Rochefoucauld nous dit qu' «il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux, s'ils n'avaient jamais en-

ем, в котором в силу проблематичности его традиции иные, даже в наших собственных рядах, еще видят по ошибке союзника.

Поэтому нелепости, к которым приводит этот способ мышления, нужно использовать как средство его разоблачения: раскрыв глаза на абсурдность теории, они открывают их и на опасности вовсе не теоретического характера.

На самом деле сшитая из отдельных лоскутов Фрейдовского учения мифология созревания инстинктов порождает духовные проблемы, пары которых, конденсируясь в облака идеалов, орошают, в свою очередь, обильными ливнями почву первоначального мифа. Лучшие перья макались в чернила, чтобы написать уравнения, которые удовлетворяли бы требованиям таинственной «genital love» (существуют понятия, которым по странности их как нельзя лучше пристал взятый в кавычки иноязычный термин: любая попытка их употребить расписывается в *non liquet*). Похоже, однако, что никто не замечает проистекающих отсюда неприятностей; скорее все видят в этом возможность для поощрения разного рода Мюнхгаузенов психоаналитической нормализации к вытягиванию себя за волосы в надежде достичь седьмого неба полной реализации генитального объекта, или даже просто объекта как такового.

То, что мы, психоаналитики, находимся в положении, способствующем осознанию могущества слов, еще не повод пользоваться этим могуществом в задачах заведомо неразрешимых, а равно и не повод «возлагать на людей бремена тяжкие и неудобоносимые», как выражается проклинающий фарисеев Христос у евангелиста Матфея.

Бедность терминов, в которые мы пытаемся заключить любую субъективную проблему, для требовательного ума явно оставляет желать лучшего — стоит лишь сравнить их с теми, в которых формулировались, пока в конце концов не запутались окончательно, древние споры вокруг Природы и Благодати [14]. К тому же бедность эта внушает опасения за качество тех психологических и социологических результатов, которые подобная терминология позволяет достигнуть. Остается лишь пожелать, чтобы лучшее понимание функций *логоса* рассеяло туманы наших фантастических харизм.

Попробуем придерживаться традиции более ясной, и истолковать знаменитый афоризм Ларошфуко: «есть люди, которые никогда не влюблялись бы, если бы никогда ничего о любви не слышали»,

tendu parler de l'amour», non pas dans le sens romantique d'une «réalisation» tout imaginaire de l'amour qui s'en ferait une objection amère, mais comme une reconnaissance authentique de ce que l'amour doit au symbole et de ce que la parole emporte d'amour.

Il n'est en tout cas que de se reporter à l'œuvre de Freud pour mesurer en quel rang secondaire et hypothétique il place la théorie des instincts. Elle ne saurait à ses yeux tenir un seul instant contre le moindre fait particulier d'une histoire, insiste-t-il, et le *narcissisme génital* qu'il invoque au moment de résumer le cas de l'homme aux loups, nous montre assez le mépris où il tient l'ordre constitué des stades libidinaux. Bien plus, il n'y évoque le conflit instinctuel que pour s'en écarter aussitôt, et pour reconnaître dans l'isolation symbolique du «je ne suis pas châtré», où s'affirme le sujet, la forme compulsionnelle où reste rivé son choix hétérosexuel, contre l'effet de capture homosexualisante qu'a subi le *moi* ramené à la matrice imaginaire de la scène primitive. Tel est en vérité le conflit subjectif, où il ne s'agit que des péripéties de la subjectivité, tant et si bien que le «je» gagne et perd contre le «moi» au gré de la catéchisation religieuse ou de l'*Aufklärung* endoctrinante, conflit dont Freud a fait réaliser les effets au sujet par ses offices avant de nous les expliquer dans la dialecique du complexe d'Œdipe.

C'est à l'analyse d'un tel cas qu'on voit bien que la réalisation de l'amour parfait n'est pas un fruit de la nature mais de la grâce, c'est-à-dire d'un accord intersubjectif imposant son harmonie à la nature déchirée qui le supporte.

Mais qu'est-ce donc que ce sujet dont vous nous rebattez l'entendement? s'exclame enfin un auditeur impatienté. N'avons-nous pas déjà reçu de M. de La Palice la leçon que tout ce qui est éprouvé par l'individu est subjectif?

—Bouche naïve dont l'éloge occupera mes derniers jours, ouvrez-vous encore pour m'entendre. Nul besoin de fermer les yeux. Le sujet va bien au-delà de ce que l'individu éprouve «subjectivement», aussi loin exactement que la vérité qu'il peut atteindre, et qui peut-être sortira de cette bouche que vous venez de refermer déjà. Oui, cette vérité de son histoire n'est pas toute dans son rollet, et pourtant la

не в романтическом смысле целиком воображаемой «реализации» любви, на которую ей самой оставалось бы только сетовать, а как честное признание того, чем обязана любовь символу, и того, что в любви принадлежит слову.

Достаточно обратиться к работам Фрейда, чтобы воочию убедиться в том, сколь вторичную и гипотетическую роль отводит он теории инстинктов. Он утверждает, что в его глазах теория эта не стоит даже наименее важного факта истории, а понятие «генитальный нарциссизм», привлекаемое им для обобщения случая Человека с волками, ясно показывает, с каким презрением относился он к фиксированной структуре либидинальных стадий. Больше того, конфликт инстинктов упоминается им лишь для того, чтобы сразу же это объяснение отстранить и признать в символической изоляции фразы «я не кастрирован», которая служит самоутверждению субъекта, вынужденную форму, в которую выливается его гетеросексуальный выбор, сопротивляясь последствиям гомосексуализирующего плена, в который угодило «его я», возвращенное к воображаемой матрице первоначальной сцены. Вот что представляет собой на самом деле субъективный конфликт, речь в котором идет лишь о перипетиях субъективности, в итоге которых «я» оказывается у «своего я» в выигрыше или в проигрыше по милости религиозной катехизации или воспитания в духе просвещения (*Aufklärung*) — конфликт, последствия которого Фрейд, став в нем посредником, сумел донести до субъекта, прежде чем объяснить их нам в диалектике Эдипова комплекса.

На анализе подобного случая легко убедиться, что реализация совершенной любви — дело не природы, а благодати, т.е. интерсубъективного согласия, навязывающего свою гармонию расчлененной природе, которая служит ему опорой.

Но что же он все-таки такое, этот субъект, о понимании которого вы без конца твердите? — спросит, наконец, нетерпеливый слушатель. Разве месье Ла Палис недостаточно ясно объяснил, что все, переживаемое индивидом, субъективно? — О наивные уста, хвалу которым я не устану возносить до конца своих дней, откройтесь же еще раз, чтобы услышать меня! Нет нужды закрывать глаза. Субъект выходит далеко за границы того, что индивид воспринимает «субъективно», столь же далеко как и истина, которой он способен достичь, и которую, как знать, может и удастся услышать из этих уст, которые вы уже успели закрыть. Да, эта истина его истории не умещается без остатка в тексте его роли, и

place s'y marque, aux heurts douloureux qu'il éprouve de ne connaître que ses répliques, voire en des pages dont le désordre ne lui donne guère de soulagement.

Que l'inconscient du sujet soit le discours de l'autre, c'est ce qui apparait plus clairement encore que partout dans les études que Freud a consacrées à ce qu'il appelle la télépathie, en tant qu'elle se manifeste dans le contexte d'une expérience analytique. Coïncidence des propos du sujet avec des faits dont il ne peut être informé, mais qui se meuvent toujours dans les liasons d'une autre expérience où le psychanalyste est interlocuteur — coïncidence aussi bien le plus souvent constituée par une convergence toute verbale, voire homonymique, ou qui, si elle inclut un acte, c'est d'un *acting out* d'un patient de l'analyste ou d'un enfant en analyse de l'analysé qu'il s'agit. Cas de résonance dans des réseaux communicants de discours, dont une étude exhaustive éclairerait les faits analogues que présente la vie courante.

L'omniprésence du discours humain pourra peut-être un jour être embrassée au ciel ouvert d'une omnicommunication de son texte. Ce n'est pas dire qu'il en sera plus accordé. Mais c'est là le champ que notre expérience polarise dans une relation qui n'est à deux qu'en apparence, car toute position de sa structure en termes seulement duels, lui est aussi inadéquate en théorie que ruineuse pour sa technique.

все же место ее там отмечено, о чем дает знать мучительный шок, который испытывает он время от времени от того, что не знает ничего, кроме своих реплик — записанных на страницах, чей беспорядок отнюдь не несет ему облегчения.

Бессознательное субъекта есть дискурс другого — эта мысль особенно явно выступает в работах Фрейда, посвященных тому, что он называет телепатией, а точнее — ее проявлениям в контексте психоаналитического опыта. Под телепатией он разумел совпадение слов субъекта с фактами, о которых тот не мог быть информирован, но которые всегда связаны в своих проявлениях с другим опытом, в котором психоаналитик участвует в качестве собеседника — совпадение, чаще всего обусловленное сходством чисто вербальным, даже омономичным; если оно и включает какое-то действие, то это действие состоит в *acting out* другого пациента психоаналитика или ребенка анализируемого субъекта, который тоже подвергается анализу. Случай резонанса в коммуникативных сетях дискурса, исчерпывающий анализ которого мог бы пролить свет на аналогичные факты, имеющие место в обыденной жизни.

Как знать, быть может вездесущие человеческого дискурса и узрит когда-нибудь отверстые небеса общедоступности своего текста. Я не хочу сказать, что он станет от этого гармоничнее. Перед нами поле, поляризация которого в нашем опыте создает в нем отношения, которые являются двухсторонними лишь по видимости, ибо любая навязываемая этому опыту двоичная структура столь же неадекватна ему в теории, сколь губительна для его техники.

2. *Symbole et langage comme structure et limite du champ psychanalytique*

Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν

(Evangile selon saint Jean, VIII, 25.)

Faites des mots croisés.

(Conseils à un jeune psychanalyste.)

Pour reprendre le fil de notre propos, répétons que c'est par réduction de l'histoire du sujet particulier que l'analyse touche à des *Gestalten* relationnelles qu'elle extrapole en un développement régulier; mais que ni la psychologie génétique, ni la psychologie différentielle qui peuvent en être éclairées, ne sont de son ressort, pour ce qu'elles exigent des conditions d'observation et d'expérience qui n'ont avec les siennes que des rapports d'homonymie.

Allons plus loin encore: ce qui se détache comme psychologie à l'état brut de l'expérience commune (qui ne se confond avec l'expérience sensible que pour le professionel des idées), — à savoir dans quelque suspension du quotidien souci, l'étonnement surgi de ce qui apparie les êtres dans un disparate passant celui des grotesques d'un Léonard ou d'un Goya, — ou la surprise qu'oppose l'épaisseur propre d'une peau à la caresse d'une paume qu'anime la découverte sans que l'émousse encore le désir —, ceci, peut-on dire, est aboli dans une expérience, revêche à ces caprices, rétive à ces mystères.

Une psychanalyse va normalement à son terme sans nous livrer que peu de chose de ce que notre patient tient en propre de sa sensibilité aux coups et aux couleurs, de la promptitude de ses prises ou des points faibles de sa chair, de son pouvoir de retenir ou d'inventer, voire de la vivacité de ses goûts.

Ce paradoxe n'est qu'apparent et ne tient à nulle carence personnelle, et si l'on peut le motiver par les conditions négatives de notre expé-

II. СИМВОЛ И ЯЗЫК КАК СТРУКТУРА И ГРАНИЦА ПОЛЯ ПСИХОАНАЛИЗА

Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν

(Евангелие от Иоанна VIII, 25)

Решайте кроссворды.

(Советы начинающему психоаналитику)

Продолжая нить нашего рассуждения, напомним, что именно путем редукции истории отдельного субъекта нащупывает анализ те гештальты отношений, которые и экстраполирует затем в регулярную схему. Причем ни генетическая психология, ни психология дифференциальная, на которые анализ проливает некоторый свет, к его ведомству не относятся, ибо требуют условий наблюдения и опыта, которые с условиями психоанализа сближаются в лучшем случае чисто омонимически.

Больше того, все то, что вырисовывается как «сырая» психология обыденного опыта, который разве что мыслители-профессионалы отождествляют с опытом чувственным, — сюда относится, скажем, изумление, которое, отложив житейское попечение, испытываем мы, наблюдая как соединяются существа в нелепые пары, чья гротескность оставляет позади фантазии Гойи и Леонардо, или удивление, которым свойственная коже плотность отвечает на ласку ладони, в которой радость открытия не ослаблена еще желанием — все это, собственно говоря, начисто упраздняется в опыте аналитическом, которому не по душе такие причуды и претят подобные тайны.

Как правило, о свойственной нашему пациенту чувствительности к ударам и цветам, о быстроте его реакций, о уязвимых местах его тела, о его памяти и изобретательности, даже о живости его вкуса, мы узнаем в процессе психоанализа совсем немного, что не мешает ему успешно идти к своей цели.

Но парадокс это чисто иллюзорный и вовсе не говорит о несостоятельности психоаналитика; и если можно мотивировать его отри-

rience, il nous presse seulement un peu plus d'interroger celle-ci sur ce qu'elle a de positif.

Car il ne se résout pas dans les efforts de cerains qui, — semblable à ces philosophes que Platon raille de ce que leur appétit du réel les menât à embrasser les arbes —, vont à prendre tout épisode où pointe cette réalité qui se dérobe, pour la réaction vécu dont ils se montrent si friands. Car ce sont ceux-là mêmes qui, se donnant pour objectif ce qui est au-delà du langage, réagissent à la «défense de toucher» inscrite en notre règle par une sorte d'obsession. Nul doute que, dans cette voie, se flairer réciproquement ne devienne le fin du fin de la réaction de transfert. Nous n'exagérons rien: un jeune psychanalyste en son travail de candidature peut de nos jours saluer dans une telle subodoration de son sujet, obtenue après deux ou trois ans de psychanalyse vaine, l'avènement attendu de la relation d'objet, et en recueillir le *dignus est intrare* de nos suffrages, garants de ses capacités.

Si la psychanalyse peut devenir une science, — car elle ne l'est pas encore —, et si elle ne doit pas dégénérer dans sa techniqie, — et peut-être est-ce déjà fait —, nous devons retrouver le sens de son expérience.

Nous ne saurions mieux faire à cette fin que de revenir à l'œuvre de Freud. Il ne suffit pas de se dire technicien pour s'autoriser, de ce qu'on ne comprend pas un Freud III, à le récuser au nom d'un Freud II que l'on croit comprendre, et l'ignorance même où l'on est de Freud I, n'excuse pas qu'on tienne les cinq grandes psychanalyses pour une série de cas aussi mal choisis que mal exposés, dût-on s'émerveiller que le grain de vérité qu'elles recélaient, en ait réchappé [15].

Qu'on reprenne donc l'œvre de Freud à la *Traumdeutung* pour s'y rappeler que le rêve a la structure d'une phrase, ou plutôt, à nous en tenir à sa lettre, d'un rébus, c'est-à-dire d'une écriture, dont le rêve de l'enfant représenterait l'idéographie primordiale, et qui chez l'adulte reproduit l'emploi phonétique et symbolique à la fois des éléments signifiants, que l'on retrouve aussi bien dans les hiéroglyphes de l'ancienne Egypte que dans les caractères dont la Chine conserve l'usage.

Encore n'est-ce là que déchiffrage de l'instrument. C'est à la version du texte que l'important commence, l'important dont Freud nous dit qu'il est donné dans l'élaboration de rêve, c'est-à-dire dans sa rhéto-

цательными условиями нашего опыта, то тем более не дурно было бы посмотреть, что этот опыт несет в себе положительного.

Ибо парадокс этот не разрешается усилиями тех, кто — подобно философам, которых Платон высмеивает за то, что из жажды реального они бросаются обнимать деревья, — принимают каждый эпизод, где эта ускользающая реальность пробивается на поверхность, за столь лакомую для них реакцию переживания. Не они ли сами, устремляясь к тому, что лежит по ту сторону языка, реагируют на предписываемый нашими правилами «запрет прикосновения» своего рода одержимостью. Принюхиваться друг к другу — вот что станет конечной целью реакции переноса при таком подходе. Мы вовсе не преувеличиваем: начинающий психоаналитик в своей кандидатской практике может и в наши дни, пронюхав что-то после двух-трех лет бесплодного анализа о своем пациенте, объявить это долгожданным «объектным отношением» и стяжать тем самым наше *dignus est intrare* — одобрение, служащее гарантией его профессионализма.

Если психоанализ способен стать наукой (ибо он ею еще не стал), и если ему не суждено выродиться в чистую технику (похоже, это уже и произошло), мы обязаны его опыт заново осмыслить.

И самое лучшее, что мы можем для этого сделать, это вернуться к учению Фрейда. Если вы считаете себя практиком, то это не значит, что вы можете позволить себе, не понимая Фрейда III, отвергать его во имя Фрейда II, которого вы якобы понимаете; а полное игнорирование Фрейда I вовсе не дает вам повода считать пять его великих психоанализов серией неудачно выбранных и дурно изложенных случаев, в которых разве что чудом каким-то избежало гибели скрытое в них зерно истины [15].

Раскройте одно из первых произведений Фрейда (*Traumdeutung*), и эта книга напомнит вам, что сон имеет структуру фразы или, буквально, ребуса, т.е. письма, первоначальная идеография которого представлена сном ребенка и которое воспроизводит у взрослого то одновременно фонетическое и символическое употребление означающих элементов, которое мы находим и в иероглифах Древнего Египта и в знаках, которые по сей день используются в Китае.

Но это пока всего лишь техническая дешифровка. Лишь с переводом текста начинается самое главное — то главное, что проявляется, по словам Фрейда, в разработке сновидения, т.е. в его риторике. Синтаксические смещения, такие как эллипс, плеоназм, ги-

rique. Ellipse et pléonasme, hyperbate ou syllepse, régression, répétition, apposition, tels sont les déplacements syntaxiques, métaphore, catachrèse, antonomase, allégorie, métonymie et synecdoque, les condensations sémantiques, où Freud nous apprend à lire les intentions ostentatoires ou démonstratives, dissimulatrices ou persuasives, rétorsives ou séductries, dont le sujet module son discours onirique.

Sans doute a-t-il posé en règle qu'il y faut rechercher toujours l'expression d'un désir. Mais entendons le bien. Si Freud admet comme motif d'un rêve qui paraît aller à l'encontre de sa thèse, le désir même de le contredire chez le sujet qu'il a tenté d'en convaincre [16], comment n'en viendrait-il pas à admettre le même motif pour lui-même dès lors que, pour y être pervenu, c'est d'autrui que lui reviendrait sa loi?

Pour tout dire, nulle part n'apparaît plus clairement que le désir de l'homme trouve son sens dans le désir de l'autre, non pas tant parce que l'autre détient les chefs de l'objet désiré, que parce que son premier objet est d'être reconnu par l'autre.

Qui parmi nous au reste ne sait par expérience que dès que l'analyse est engagée dans la voie du transfert, — et c'est pour nous l'indice qu'elle l'est en effet, — chaque rêve du patient s'interprète comme provocation, aveu larvé ou diversion, par sa relation au discours analytique, et qu'à mesure du progrès de l'analyse, ils se réduisent toujours plus à la fonction d'éléments du dialogue qui s'y réalise?

Pour la psychopathologie de la vie quotidienne, autre champ consacré par une autre œvre de Freud, il est clair que tout acte manqué est un discours réussi, voire assez joliment tourné, et que dans le lapsus c'est le bâillon qui tourne sur la parole, et juste du quadrant qu'il faut pour qu'un bon entendeur y trouve son salut.

Mais allons droit où le livre débouche sur le hasard et les croyances qu'il engendre, et spécialement aux faits où il s'attache à démontrer l'efficacité subjective des associations sur des nombres laissés au sort d'un choix immotivé, voire d'un tirage de hasard. Nulle part ne se révèlent mieux qu'en un tel succès les structures dominantes du champ psychanalytique. Et l'appel fait au passage à des mécanismes intellec

пербата, силлепс, регрессия, повторение, оппозиция; и семантические сгущения, такие как метафора, катахреза, антономазия, аллегория, метонимия и синекдоха, — вот в чем учит нас Фрейд вычитывать те намерения — показать или доказать, притвориться или убедить, возразить или соблазнить, — в которых субъект модулирует свой онирический дискурс.

Спору нет, Фрейд положил за правило всегда искать в сновидении проявление какого-то желания. Но поймем его правильно. Если мотивом сна, идущего, казалось бы, вразрез с его теорией, он признает желание противоречия со стороны субъекта, которого он попытался в ней убедить [16], то почему бы ему не признать, что, буде ему это удалось, собственный закон возвратился бы к нему уже от другого, и тот же самый мотив он мог бы по праву приписать и себе.

Словом, здесь-то и проявляется как нельзя отчетливо тот факт, что желание человека получает свой смысл в желании другого — не столько потому, что другой владеет ключом к желаемому объекту, сколько потому, что главный его объект — это признание со стороны другого.

Кто из нас не знает по опыту, что как только анализ вступает на путь переноса — и это как раз лучший признак, что он на этот путь действительно вступил — каждый сон пациента интерпретируется как провокация, скрытое признание или отвлекающий маневр во взаимоотношениях с аналитическим дискурсом, и что в ходе анализа сны все больше и больше сводятся в своих функциях к элементам реализующегося в нем диалога?

Что касается психопатологии обыденной жизни, — области, открытой для нас другой работой Фрейда, — то ясно, что всякое несостоявшееся действие представляет собой здесь успешный дискурс, порой даже очень ловко построенный, и что при оговорке кляп в устах говорящего ослабевает ровно настолько, чтобы имеющий уши услышал.

Но обратимся непосредственно к тому месту этой работы, где говорится о случае и порождаемых им поверьях, и в частности к фактам, на которых Фрейд подробно показывает субъективную эффективность ассоциаций, связанных с числами, заданными путем немотивированного выбора, или называния наугад. В этой-то эффективности как раз и раскрываются наилучшим образом доминирующие структуры психоаналитического поля. И сделанная мимоходом ссылка на неизвестные нам интеллектуальные меха-

tuels ignorés n'est plus ici que l'excuse de détresse de la confiance totale faite aux symboles qui vacille d'être comblée au-delà de toute limite.

Car si pour admettre un symptôme dans la psychopathologie psychanalytique, qu'il soit névrotique ou non, Freud exige le minimum de surdétermination que constitue un double sens, symbole d'un conflit défunt par-delà sa fonction dans un conflit présent *non moins symbolique*, s'il nous a appris à suivre dans le texte des associations libres la ramification ascendante de cette lignée symbolique, pour y repérer aux points où les formes verbales s'en recroisent les noeds de sa structure, — il est déjà tout à faut clair que le symptôme se résout tout entier dans une analyse de langage, parce qu'il est lui-même structuré comme un langage, qu'il est langage dont la parole doit être délivrée.

C'est à celui qui n'a pas approfondi la nature du langage, que l'expérience d'association sur les nombres pourra montrer d'emblée ce qu'il est essentiel ici de saisir, à savoir la puissance combinatoire qui en agence les équivoques, et pour y reconnaître le ressort propre de l'inconscient.

En effet si des nombres obtenus par coupure dans la suite des chiffres du nombre choisi, de leur mariage par toutes les opérations de l'arithmétique, voire de la division répétée du nombre originel par l'un des nombres scissipares, les nombres résultants [17] s'avèrent symbolisants entre tous dans l'histoire propre du sujet, c'est qu'ils étaient déjà latents au choix où ils ont pris leur départ, — et dès lors si l'on réfute comme superstitieuse l'idée que ce sont là les chiffres mêmes qui ont déterminé la destinée du sujet, force est d'admettre que c'est dans l'ordre d'existence de leurs combinaisons, c'est-à- dire dans le langage concret qu'ils représentent que réside tout ce que l'analyse révèle au sujet comme son inconscient.

Nous verrons que les philologues et les ethnographes nous en révèlent assez sur la sûreté combinatoire qui s'avère dans les systèmes complètement inconscients auxquels ils ont affaire, pour que la proposition ici avancée n'ait pour eux rien de surprenant.

Mais si quelqu'un restait réticent à notre propos, nous en appellerions, une fois de plus, au témoignage de celui qui, ayant découvert

низмы — не более чем смущенное извинение в полном доверии к символам, которое поколебалось разве лишь оттого, что оказалось оправданным сверх всякой меры.

Ибо если для того, чтобы допустить симптом — неважно, невротический или нет, — в сферу психоаналитической психопатологии, Фрейд требует наличия того минимума сверхдетерминации, который конституируется двойным смыслом, символом угасшего конфликта, функционирующим одновременно в конфликте настоящем, *не менее символическом*; если он научил нас прослеживать в тексте свободных ассоциаций восходящие разветвления этого символического древа, нащупывая в нем узлы структуры этого текста в тех точках, где вербальные формы пересекаются, — то совершенно ясно, что симптом целиком разрешается в анализе языка, потому что и сам он структурирован как язык; что он, другими словами, и есть язык, речь которого должна быть освобождена.

Для того, кто не вдумывался в природу языка, именно опыт числовых ассоциаций может сразу указать на то главное, что здесь нужно понять: на комбинаторную силу, организующую в нем (языке) двусмысленности. В этом и следует признать истинную пружину бессознательного.

Ведь если при разбиении на несколько групп последовательности цифр, образующих некоторое выбранное число, и последующем соединении образовавшихся чисел действиями арифметики, или при неоднократном делении первоначального числа на одно из полученных при разбиении новых чисел, получаются числа [17], которые в истории субъекта играют наиболее ярко выраженную символическую роль, не значит ли это, что в скрытом виде они уже были заложены в том выборе, которым они были заданы, так что если отбросить суеверную мысль, что перед нами цифры, предопределяющие судьбу субъекта, остается предположить, что именно в порядке существования их комбинаций, т.е. в том конкретном языке, который они собой представляют, и пребывает то, что анализ открывает субъекту как его бессознательное.

Мы увидим, что филологи и этнографы знают достаточно примеров комбинаторной безошибочности, обнаруживающейся в полностью бессознательных системах, с которыми они имеют дело, чтобы не удивляться высказанному нами здесь положению.

Если кто-то еще сомневается, мы вновь обратимся к свидетельству того, кто, открыв бессознательное, вправе рассчитывать на

l'inconscient, n'est pas sans titre à être cru pour désigner sa place: il ne nous fera pas défaut.

Car si délaissée qu'elle soit de notre intérêt, — et pour cause —,le *Mot d'esprit et l'Inconscient* reste l'œvre la plus inconestable parce que la plus transparente, où l'effet de l'inconscient nous soit démontré jusqu'aux confins de sa finesse; et le visage qu'il nous révèle est celui même de l'esprit dans l'ambiguïté que lui confère le langage, où l'autre face de son pouvoir régalien est la «pointe» par quoi son ordre entier s'anéantit en un instant, — pointe en effet où son activité créatrice dévoile sa gratuité absolue, où sa domination sur le r´eel s'exprime dans le défi du nonsens, où l'humour, dans la grâce méchante de l'esprit libre, symbolise une vérité qui ne dit pas son dernier mot.

Il faut suivre aux détours admirablement pressants des lignes de ce livre la promenade où Freud nous emmène dans ce jardin choisi du plus amer amour.

Ici tout est substance, tout est perle. L'esprit qui vit en exilé dans la création dont il est l'invisible soutien, sait qu'il est maître à tout instant de l'anéantir. Formes altières ou perfides, dandystes ou débonnaires de cette royauté cachée, il n'est pas jusqu'aux plus méprisées dont Freud ne sache faire briller l'éclat secret. Histoires du marieur courant les ghettos de Moravie, figure décriée d'Eros et comme lui fils de la pénurie et de la peine, guidant de son service discret l'avidité du goujat, et soudain le bafouant d'une réplique illuminante en son non-sens: «Celui qui laisse ainsi échapper la vérité, commente Freud, est en réalité heureux de jeter le masque.»

C'est la vérité en effet, qui dans sa bouche jette là le masque, mais c'est pour que l'esprit en prenne un plus trompeur, la sophistique qui n'est que stratagème, la logique qui n'est qu'un leurre, le comique même qui ne va là qu'à éblouir. L'esprit est toujours ailleurs. «L'esprit comporte en effet une telle conditionnalité subjective...: n'est

наше доверие и в поиске его местоположения — уж он-то не подведет нас.

Ибо как бы мало внимания мы ей до сих пор ни уделяли (на что, впрочем, были свои причины), *Остроумие и его отношение к бессознательному* остается работой самой бесспорной, ибо самой прозрачной, — работой, в которой действие бессознательного демонстрируется нам до последних тонкостей; черты бессознательного, которые нам здесь открываются — это и есть черты самого ума, запечатленные той двусмысленностью, что сообщает ему язык, оборотной стороной царских привилегий которого является «острота», способная в мгновение ока упразднить весь его строй — острота, в которой его творческая активность обнаруживает свою абсолютную произвольность; в которой его господство над реальным принимает облик вызывающей бессмыслицы; в которой юмор, отмеченный коварством свободного духа, символизирует некую истину, не произносящую своего последнего слова.

Отправимся же вслед за Фрейдом в увлекательную прогулку по восхитительно заманчивым тропам этой книги — излюбленного сада горчайшей его любви.

Здесь все существенно, все жемчужная россыпь. Ум, живущий в изгнании среди творения, которому он служит незримой опорой, знает, что волен в каждое мгновение уничтожить его. И нет таких форм этой скрытой царственности — высокомерных или коварных, щегольских или снисходительных, вплоть до самых презренных, — которые не засияли бы у Фрейда во всем великолепии своего потаенного блеска. Истории свата, в образе униженного Эроса, сына нужды и труда, странствующего по еврейским гетто Моравии, который, оказывая свои деликатные услуги жадному мужлану, неожиданно высмеивает его репликой, бессмысленность которой сразу ставит все на свои места, Фрейд комментирует: «Тот, у кого истина вырывается таким образом, на самом деле рад бывает сбросить с себя маску».

Он прав, это сама истина сбрасывает маску его устами, но сбрасывает лишь для того, чтобы ум мог укрыться за другой, еще более обманчивой: софистика служит ему стратегией, логика — приманкой, и даже комизм —способом пустить пыль в глаза. Сам ум всегда хранит дистанцию. «Остроумие предполагает некую субъективную обусловленность...: остроумно лишь то, что я тако-

esprit que ce que j'accepte comme tel», poursuit Freud qui sait de quoi il parle.

Nulle part l'inention de l'individu n'est en effet plus manifestement dépassée par la trouvaille du sujet, — nulle part la distinction que nous faisons de l'un à l'autre ne se fait mieux sentir — puisque non seulement il faut que quelque chose m'ait été étranger dans ma trouvaille pour que j'y aie mon plaisir, mais qu'il faut qu'il en reste ainsi pour qu'elle porte. Ceci prenant sa place de la nécessité, si bien marquée par Freud, du tiers auditeur toujours supposé, et du fait que le mot d'esprit ne perd pas son pouvoir dans sa transmission au style indirect. Bref pointant au lieu de l'Autre l'ambocepteur qu'éclaire l'artifice du mot fusant dans sa suprême alacrité.

Une seule raison de chute pour l'esprit: la platitude de la vérité qui s'explique.

Or ceci concerne directement notre problème. Le mèpris actuel pour les recherches sur la langue des symboles qui se lit au seul vu des sommaires de nos publications d'avant et d'après les années 1920, ne répond à rien de moins pour notre discipline qu'à un changement d'objet, dont la tendance à s'aligner au plus plat niveau de la communication, pour s'accorder aux objectifs nouveaux proposés à la technique, a peut-être à répondre du bilan assez morose que les plus lucides dressent de ses résultats [18].

Comment la parole, en effet, épuiserait-elle le sens de la parole ou, pour mieux dire avec le logicisme positiviste d'Oxford, le sens du sens, — sinon dans l'acte qui l'engendre? Ainsi le renversement gœthéen de sa présence aux origines: «Au commencement était l'action», se renverse à son tour: c'était bien le verbe qui était au commencement, et nous vivons dans sa création, mais c'est l'action de notre esprit qui continue cette création en la renouvelant toujours. Et nous ne pouvons nous retourner sur cette action qu'en nous laissant pousser toujours plus avant par elle.

Nous ne le tenterons nous-même qu'en sachant que c'est là sa voie...

Nul n'est censé ignorer la loi, cette formule transcrite de l'humour d'un Code de Justice exprime pourtant la vérité où notre expérience se fonde et qu'elle confirme. Nul homme ne l'ignore en effet, puisque la loi de l'homme est la loi du langage depuis que les premier mots de

вым нахожу», — продолжает Фрейд, прекрасно зная, о чем он говорит.

Ни в какой другой ситуации выдумка субъекта не выходит в такой степени за рамки намерений индивида, нигде не чувствуется лучше то различие, которое мы между тем и другим проводим. Ведь для того, чтобы выдумка могла доставить мне удовольствие, в ней должно быть нечто странное для меня самого — больше того, чтобы она возымело действие, свойство это должно за ней сохраниться. Это связано как с нуждой в третьем лице — слушателе — присутствие которого, как ясно показал Фрейд, обязательно предполагается, так и с тем фактом, что острота никогда не теряет силы при передаче в косвенной речи. То есть когда амбоцептор, озаряемый ликованием словесного фейверка, устремляется на место Другого.

Единственное, что делает остроту неудачной, это тривиальность той истины, которая получает свое объяснение.

К нашей проблеме это имеет непосредственно отношение. Нынешнее отсутствие интереса к исследованиям в области языка символов, бросающееся в глаза при сравнении количества публикаций на эту тему до и после 1920 года, обусловлена в нашей дисциплине ни больше ни меньше как сменой ее предмета; стремление к равнению на плоский уровень коммуникации, обусловленное новыми задачами, поставленными перед психоаналитической техникой, скорее всего и послужило причиной безрадостного итога, который наиболее проницательные умы подводят ее результатам [18].

Может ли речь исчерпать смысл речи — или, точнее, в терминологии Оксфордского логического позитивизма, смысл смысла — иначе, нежели в акте ее порождения? Как видим, первородство, которое отнял было у слова Гете («В начале было дело») снова к нему возвращается: в начале было именно слово и мы живем в его творении, но продолжается это творение и обновляется оно лишь делом нашего ума. Оглянуться на него мы можем лишь двигаясь вперед и вперед под его напором. И рискнем мы на это, лишь зная, что следуем здесь его путями...

«Никто не должен оправдываться незнанием законов», — формула эта, являющая собой образец юмора из Судебного Кодекса, выражает, тем не менее, истину, на которой наш опыт основан и которую он подтверждает. Закон действительно известен всякому, ибо с тех пор, как первые слова признательности повлекли за собой первые дары, закон человека — это закон языка, и понадоби

reconassaince ont présidé aux premiers dons, y ayant fallu les Danaäens détestables qui viennent et fuient par la mer pour que les hommes apprennent à craindre les mots trompeurs avec les dons sans foi. Jusque-là, pour les Argonautes pacifiques unissant par les nœds d'un commerce symbolique les îlots de la communauté, ces dons, leur acte et leurs objets, leur érection en signes et leur fabrication même, sont si mêlés à la parole qu'on les désigne par son nom [19].

Est-ce à ces dons ou bien aux mots de passe qui y accordent leur non-sens salutaire, que commence le langage avec la loi? Car ces dons sont déjà symboles, en ceci que symbole veut dire pacte, et qu'ils sont d'abord signifiants du pacte qu'ils constituent comme signifié: comme il se voit bien à ceci que les objets de l'échange symbolique, vases faits pour être vides, boucliers trop lourds pour être portés, gerbes qui se dessécheront, piques qu'on enfonce au sol, sont sans usage par destination, sinon superflus par leur abondance.

Cette neutralisation du signifiant est-elle le tout de la nature du langage? Pris à ce taux, on en trouverait l'amorce chez les hirondelles de mer, par exemple, pendent la parade, et matérialisée dans le poisson qu'elles se passent de bec en bec et où les éthologues, s'il faut bien y voir avec eux l'instrument d'une mise en branle du groupe qui serait un équivalent de la fête, seraient tout à fait justifiés à reconnaître un symbole.

On voit que nous ne reculons pas à chercher hors du domaine humain les origines comportement symbolique. Mais ce n'est certainement pas par la voie d'une élaboration du signe, celle où s'engage après tant d'autres M. Jules H. Massermann [20], à laquelle nous nous arrê-terons un instant, non seulement pour le ton déuré dont il y trace sa démarche, mais par l'aqueil qu'elle a trouvé auprès des rédacteurs de notre journal officiel, qui conformément à une tradition empruntée aux bureaux de placements, ne négligent jamais rien de ce qui peut fournir à notre discipline de «bonnes références».

Pensez-donc, un homme qui a reproduit le névrose expé-ri-men-ta-lement chez un chien ficelé sur une table et par quels moyens ingénieux: une sonnerie, la plat de viande qu'elle annonce, et le plat de pommes qui arrive à contretemps, je vous en passe. Ce n'est pas lui, du moins lui-même nous en assure, qui se laissera prendre aux «am-

лись презренные, пришедшие и бежавшие морем данайцы, чтобы люди научились опасаться лживого слова и неискреннего дара. До тех пор, для мирных аргонавтов, связывавших узами символического обмена соплеменных обитателей островов, дары эти — сам акт дарения, предметы дара, возведение их в достоинство знака и само изготовление их — связаны со словом настолько тесно, что им и именовались [19].

Так с чего же начинается язык вкупе с законом — с этих даров, или с пароля, наделяющего их своей спасительной бессмысленностью? Ведь дары эти сами по себе уже символы, ибо символ означает союз, а они суть означающие союза, который сами же и конституируют как означаемое. Свидетельством тому тот факт, что объекты символического обмена — эти сосуды, в которые ничего не положишь, щиты, слишком тяжелые для битвы, венки, которым суждено засохнуть, пики, втыкаемые в землю, — всегда бывают либо заведомо бесполезны, либо избыточно обильны.

Но эта нейтрализация означающего — исчерпывает ли она природу языка до конца? Если да, то нельзя ли обнаружить начатки его, скажем, у морских ласточек во время тока, где материей его служит передаваемая из клюва в клюв рыба, в которой этнологи — если она действительно, как они утверждают, является средством вызвать у группы равнозначную празднику активность, — с полным правом могли бы тогда усматривать символ?

Как видите, мы не исключаем возможности поиска истоков символического поведения и вне собственно человеческой области. Но это не значит, что мы готовы допустить их происхождение из знаков, — путь, которым вслед за многими другими, последовал Жюль Массерман [20], и на котором стоит немного задержаться, не только из-за развязного тона, этому автору свойственного, но и ввиду одобрения, полученного его работой со стороны редакторов нашего официального журнала, которые по традиции, заимствованной у бюро трудоустройств, не брезгуют ничем, что может дать нашей дисциплине лишние «хорошие рекомендации».

Подумайте только, человек экспериментально воспроизводит невроз у привязанной к столу собаки, и какими хитроумными средствами: звонок, тарелка с мясом, о появлении которой этот звонок предупреждает, и некстати являющаяся тарелка с яблоками, — всего-то навсего! Уж он-то, по его собственным словам, не дает себя одурачить тем, что «мелют» — примерно так он выра-

ples ruminations», car c'est ainsi qu'il s'exprime, que les philosophes ont consacrées au problème du langage. Lui va vous le prendre à la gorge.

Figurez-vous que par un conditionnement judicieux de ses réflexes, on obtient d'un raton-laveur qu'il se dirige vers son garde-mander quand on lui présente la carte où peut se lire son menu. On ne nous dit pas si elle porte mention des prix, mais on ajoute ce trait convaincant que, pour peu que le service l'ait déçu, il reviendra déchirer la carte trop prometteuse, comme le ferait des lettres d'un infidèle une amante irritée.

Telle est l'une des arches où l'auteur fait passer la route qui conduit du signal au symbole. On y circule à double voie, et le sens du retour n'y montre pas de moindres ouvrages d'art.

Car si chez l'homme vous associez à la projection d'une vive lumiére devant ses yeux le bruit d'une sonnette, puis le maniement de celle-ci à l'émission de l'ordre: contractez (en anglais: *contract*), vous arriverez à ce que le sujet, à moduler cet ordre lui-même, à le murmurer, bientôt seulement à le produire en sa pensée, obtienne la contraction de sa pupille, soit une réaction du système que l'on dit autonome, parce qu'ordinairement inaccessible aux effets intentionnels. Ainsi M. Hudgins, s'il faut en croire notre auteur,«a-t-il créé chez un groupe de sujets, une configuration hautemeent individualisée de réactions affines et viscérales du symbole ìdéique (*idea-symbol*) «contract», une répose qui pourrait être ramenée à travers leurs expériences particulières à une source en apparence lointaine, mais en réalité basiquement physiologique: dans cet exemple, simplement le protection de la rétine contre une lumière excessive». Et l'auteur conclut: «La signification de telles expériences pour la recherche psychosomatique et linguistique n'a même pas besoin de plus d'élaboration.»

Nous aurions pourtant, quant à nous, été curieux d'apprendre si les sujets ainsi éduqués réagissent aussi à l'énonciation du même vocable articulée dans les locutions: *marriage contract, bridge-contract, breach of contract*, voire progressivement réduite à l'émission de sa première syllable: contract, contrac, contra, contr... La contre-épreuve, exigible en stricte méthode, s'offrant ici d'elle-même du murmure entre les dents de cette syllabe par le lecteur français qui n'aurait subi d'autre conditionnement que la vive lumière projetée sur le problè-

жается — философы, рассуждающие о проблеме языка. Он-то справится с этой проблемой в два счета!

И представьте себе, здравомыслящей выработкой условных рефлексов можно добиться, например, чтобы енот-полоскун при виде карты, на которой написано его меню, немедленно направлялся к кормушке! Нам не говорят, правда, указаны ли там цены, но зато приводят убедительную деталь: если кормушка чем-то его разочаровала, зверек возвращается и рвет обманувшую его ожидания карту, как рвет раздраженная женщина письма неверного любовника.

Таков один из пролетов моста, по которому автор проложил путь от сигнала к символу. Движение по этой дороге двустороннее, и возвращение происходит способами не менее хитроумными.

Если у человека закрепить ассоциацию между слепящим его глаза светом и звонком, и другую между звонком и приказом: сжимайте! (по-английски: *contract!*), то вскоре субъект, отдавая этот приказ, шепча его, или даже произнося его мысленно, сможет добиться сужения зрачков, т.е. сможет воздействовать на систему, именуемую автономной, поскольку в обычных условиях она нашим намерениям не подчиняется. Если верить нашему автору, господин Хаджинс сумел создать у целой группы субъектов ряд высоко индивидуализированных и близких по характеру реакций внутренних органов на идеационный символ (*idea-symbol*) «contract!» — реакций, которые в каждом случае, исходя из опосредующего их субъективного опыта, могут быть возведены к причине по видимости отдаленной, но по сути своей физиологической: в данном примере, защита ретины от избытка света». И далее автор заключает: «Значение подобных опытов для психосоматических исследований и лингвистики в дополнительных пояснениях не нуждается».

Нам однако, со своей стороны, было бы интересно узнать, не будут ли наученные таким способом субъекты реагировать на произнесение этой же вокабулы в выражениях типа *marriage contract, bridge-contract, breach of contract*, или же ее самой, но при постепенном сокращении ее до первого слога: contract, contrac, contra, contr, ...

Контрольный опыт, без которого строгая методика обойтись не может, напрашивается здесь сам собой: что если слог этот произнесет сквозь зубы французский читатель, не подвергавшийся никакому воздействию, кроме яркого света, пролитого на данную

me par M. Jules H. Massermann. Nous demanderions alors à celui-ci les effets ainsi observés chez les sujets conditionnés lui paraîtraient toujours pouvoir se passer aussi aisément d'être élaborés. Car ou bien ils ne se produiraient plus, manifestant ainsi qu'ils ne dépendent pas même conditionnellement du sémantème, ou bien ils continueraient à se produire, posant la question des limites de celui-ci.

Autrement dit, ils feraient apparaître dans l'instrument même du mot, la distinction du signifiant et du signifié, si allégrement confondue par l'auteur dans le terme *idea-symbol.* Et sans avoire besoin d'interroger les réactions des sujets conditionnés à l'ordre *don't contract*, voire à la conjugasion entière du verbe *to contract*, nous pourrions faire observer à l'auteur que ce qui définit comme appartenent au langage un élément quelconque d'une langue, c'est qu'il se distingue comme tel pour tous les usagers de cette langue dans l'ensemble supposé constitué des éléments homologues.

Il en résulte que les effets particuliers de cet élément du langage sont liés à l'existence de cet ensemble, antérieurement à sa liaison possible à toute epérience particulière du sujet. Et que considérer cette dernière liaison hors de toute référence la à première, consiste simplement à nier dans cet élément la fonction propre du langage.

Rappel de principes qui éviterait peut-être à notre aureur de découvrir avec une naïveté sans égale la correspondance textuelle des catégories de la grammaire de son enfance dans les relations de la réalité.

Ce monument de naïveté, au reste d'une espèce assez commune en ces matîeres, ne mériterait pas tant de soins s'il n'était le fait d'un psychanalyste, ou plutôt de quelqu'un qui raccorde comme par hasard tout ce qui se produit dans une certaine tandance de la psychanalyse, au titre de théorie de l'*ego* ou de technique d'analyse des défenses, de plus opposé à l'expérience freudienne, manifestant ainsi *a contrario* la cohérence d'une saine conception du langage avec le maintien de cellci. Car la découverte de Freud est celle du champ des incidences, en la nature de l'homme, de ses relations à l'ordre symbolique, et la remontée de leur sens jusqu'aux instance les plus radicales de la

проблему Жюлем Массерманом? И тогда мы спросим у этого последнего: всегда ли, по его мнению, результаты, наблюдаемые на лицах подготовленных, могут быть столь легко получены без всякой подготовки? Ибо одно из двух: либо результаты эти больше не появятся, что продемонстрирует отсутствие всякой, даже условной зависимости их от семантемы, или они будут по-прежнему появляться, ставя тем самым вопрос о границах этой последней.

Другими словами, благодаря им в самом инструменте слова выявится различие между означающим и означаемым, которое автор ничтоже сумняшеся объединяет в понятие *idea-symbol*. И нам нет нужды изучать реакцию подготовленных субъектов на команду *don't contract*! или на глагол *to contract* во всех его временных формах, чтобы указать автору, что говорить о принадлежности какого-то элемента языковой системы к языку можно в том случае, когда все носители данного языка способны выделить его как таковой внутри складывающегося из подобных элементов множества.

Отсюда следует, что конкретное воздействие этого элемента языка связано с существованием такого множества, и связь эта предшествует любой возможной связи этого элемента с конкретным опытом субъекта. Рассматривать же эту последнюю связь безотносительно к первой, значит отрицать в этом элементе его собственно языковую функцию.

Памятование об этих принципах не позволило бы нашему автору с беспримерной наивностью обнаруживать в отношениях реальности текстуальные соответствия выученным им в детстве грамматическим категориям.

Этот образец наивности — для данной области, впрочем, довольно характерный — не заслуживал бы такого внимания, если бы не был делом рук психоаналитика, или, лучше сказать, некоего лица, сумевшего как бы случайно соединить в себе все черты того направления психоанализа, которые под названием «теории Эго» или технике анализа защитных реакций, по сути дела противостоит фрейдовскому опыту, как бы «от противного» демонстрируя нерасторжимую связь этого опыта со здравым понятием о языке. Ибо открытие Фрейда — это открытие совокупности тех последствий, которые несет для природы человека его принадлежность к символическому строю, и прослеживание их смысла вплоть до обнаружения в бытии наиболее радикальных инстанций символиза-

symbolisation dans l'être. Le méconnaître est condamner la découverte à l'oubli, l'expérience à la ruine.

Et nous posons comme une affirmation qui ne saurait être retranchée du sériux de notre propos actuel que la présence du raton-laveur, plus haut évoqué, dans le fauteuil où la timidité de Freud, à en croire notre auteur, aurait confiné l'analyste en le plaçant derrière le divan, nous paraîtrait préférable à celle du savant qui tient sur le langage et la parole un pareil discours.

Car le raton-laveur au moins, par la grâce de Jaque Prévert («une pierre, deux maisons, trois ruines, quatre fossoyeurs, un jardin, des fleurs, un raton-laveur»), est entré à jamais dans le bestiaire poétique et participe comme tel en son essence à la fonction éminente du symbole, mais l'être à notre ressemblance qui professe ainsi la méconnaissance systématique de cette fonction, se bannit à jamais de tout ce qui peut par elle être appelé à l'existence. Dès lors, la question de la place qui revient au dit semblable dans la classification naturelle nous paraîtrait ne relever que d'un humanisme hors de propos, si son discours, en se croisant avec une technique de la parole dont nous avons la garde, ne devait être trop fécond, même à y engendrer des monstres stériles. Qu'on sache donc, puisque aussi bien il se fait mérite de braver le reproche d'anthropomorphisme, que c'est le dernier terme dont nous userions pour dire qu'il fait de son être la mesure de toutes choses.

Revenons à notre objet symbolique qui est lui-même fort consistant dans sa matière, s'il a perdu le poid de son usage, mais dont le sens impondérable entraînera des déplacements de quelque poids. Est-ce donc là la loi et le langage? Peut-être pas encore.

Car même apparût-il chez l'hirondelle quelque caïd de la colonie qui, en gobant le poisson symbolique au bec béant des autres hirondelles, inaugurât cette exploitation de l'hirondelle par l'hirondelle dont nous nous plûmes un jour à filer la fantaisie, ceci ne suffirait point à reproduire parmi elles cette fabuleuse histoire, image de la nôtre, dont l'épopée ailée nous tint captifs en l'île des pingouins, et il s'en faudrait de quelque chose pour faire un univers «hirundinisé».

Ce «quelque chose» achève le symbole pour en faire le langage. Pour que l'objet symbolique libéré de son usage devienne le mot libéré de

ции. Игнорировать это — значит обречь открытие Фрейда на забвение и свести на нет его опыт.

И мы, ничуть не погрешая против серьезности нашего рассуждения, готовы утверждать, что лучше уж кресло, в которое, если верить нашему автору, Фрейд, по скромности своей, расположив его за диваном, поместил аналитика, занимал бы енот-полоскун, нежели ученый рассуждающий о языке и речи подобным образом.

Ибо с легкой руки Жака Превера («один камень, два дома, три развалины, четыре могильщика, сад, цветы и енот-полоскун») енот-полоскун, по крайней мере, навсегда занял место в поэтическом бестиарии и в этом качестве причастен по сущности своей к важнейшей функции символа, в то время как существо нам подобное, выказывающее систематическое непонимание этой функции, тем самым навеки отлучает себя от всего, что функция эта может вызвать к существованию. Вопрос о месте, принадлежащем подобным высказываниям в естественной классификации, мы были бы склонны рассматривать только как выражение некоего гуманизма, к нашему делу отношения не имеющего, если бы рассуждения эти, пересекаясь с охраняемой нами техникой слова, не оказались чрезмерно плодотворны, произведя на свет ряд стерильных монстров. Так вот, коль скоро он хвалится тем, что не боится упреков в антропоморфмизме, да будет ему известно, что пожелай я уличить его в намерении выдать себя за меру всех вещей, термином антропоморфизм я воспользуюсь для этого в последнюю очередь.

Но вернемся к нашему символическому объекту, который, утратив весомость утилитарную, материально остался вполне весомым, так что передача невесомого его смысла потребует перемещения некоторого веса. Действительно ли перед нами закон и язык? Похоже, что еще нет.

Ведь даже появись среди ласточек эдакий атаман, который, выхватывая из разинутых клювов других ласточек символическую рыбу, положил бы начало той эксплуатации ласточки ласточкой, о которой мы позволили себе однажды пофантазировать, этого вряд ли бы достало, чтобы воспроизвести у них ту, по образу нашей написанную, баснословную историю, что всех нас держала однажды пленниками на острове пингвинов; чтобы создать настоящую «ласточкину вселенную» еще чего-то явно не хватало бы.

Это «что-то» как раз и завершает собой символ, претворяя его в язык. Чтобы освобожденный от своего утилитарного назначения

l'*hic et nunc*, la différence n'est pas de la qualité, sonore, de sa matière, mais de son être évanouissant où le symbole trouve la permanence du concept.

Par le mot qui est déjà une présence faite d'absence, l'absence même vient à se nommer en un moment original dont le génie de Freud a saisi dans le jeu de l'enfant la recréation perpétuelle. Et de ce couple modulé de la présence et de l'absence, qu'aussi bien suffit à constituer la trace sur le sable du trait simple et du trait rompu des *koua* mantiques de la Chine, naît l'univers de sens d'une langage où l'univers des choses viendra à se ranger.

Par ce qui ne prend corps que d'être la trace d'un néant et dont le support dès lors ne peut s'altérer, le concept, sauvant la durée de ce qui passe, engendre la chose.

Car ce n'est pas encore assez dire que de dire que le concept est la chose même, ce qu'un enfant peut démontrer contre l'école. C'est le monde des mots qui crée le monde des choses, d'abord confondues dans l'*hic et nunc* du tout en devenir, en donnant son être concret (a leur essence, et sa place partout à ce qui est de toujours: (κτῆμα ές ἀεὶ). L'homme parle donc, mais c'est parce que le symbole l'a fait homme. Si en effet des dons surabondants accueillent l'étranger qui s'est fait connaître, la vie des groupes naturels qui constituent la communauté est soumise aux règles de l'alliance, ordonnant le sens dans lequel s'opère l'échange des femmes, et aux prestations réciproques que l'alliance détermine: comme le dit le proverbe Sironga, un parent par alliance est une cuisse d'éléphant. A l'alliance préside un ordre préférentiel dont la loi impliquant les noms de parenté est pour le groupe, comme le langage, impérative en ses formes, mais inconsciente en sa structure. Or dans cette structure dont l'harmonie ou les impasses règlent l'échange restreint ou généralisé qu'y discerne l'ethnologue, le théoricien étonné retrouve toute la logique des combinaisons: ainsi les lois du nombre, c'est-à-dire du symbole le plus épuré, s'avèrent être immanentes au symbolisme originel. Du moins est-ce la richesse des formes où se développent les structures qu'on dit élémentaires de la parenté, qui les y rend lisibles. Et ceci donne à penser que c'est peut-être seulement notre inconscience de leur permanence, qui nous laisse croire à la liberté des choix dans les structures dites complexes de l'alliance sous la loi desquelles nous vivons. Si la statistique déjà

символический объект стал освобожденным от «здесь и теперь» словом, изменение должно пройзойти не в качестве его материи (звуковая она или нет — неважно), а в том неуловимом бытии его, где символ обретает постоянство концепта.

Посредством слова, которое, собственно, уже и есть присутствие, созданное из отсутствия, отсутствие само, в тот начальый момент, постоянное воспроизведение которого различил в игре ребенка гений Фрейда, начинает именоваться. И вот из этой модулированной пары отсутствия и присутствия — которую, с таким же успехом, порождают начертанные на песке длинные и короткие штрихи китайских мантических «куа», — и рождается та вселенная языкового смысла, в которой упорядочивается впоследствии вселенная вещей.

С помощью того, что воплощается лишь в качестве следа некоего небытия и чей носитель с момента воплощения измениться не может, концепт, храня длительность преходящего, порождает вещь.

Мало сказать, что концепт и есть сама вещь — это, вопреки школьной мудрости, может доказать и ребенок. Именно мир слов и порождает мир вещей, поначалу смешанных в целом становящегося «здесь и теперь»; порождает, сообщая их сущности свое конкретное бытие, а тому, что пребывает от века (κτῆμα ἐς ἀεί) — свою вездесущность. Итак, человек говорит, но говорит он благодаря символу, который его человеком сделал. Ведь если назвавшего себя чужестранца встречают дары избыточно обильные, то жизнь естественных групп, образующих сообщество, подчиняется брачным правилам, регулирующим порядок обмена женщинами и соответствующие взаимные повинности, этими правилами определяемые; по пословице Сиронга, родственник со стороны супруги все равно что ляжка слона. Брак определяется порядком предпочтений, правила которого, включающие именования степеней родства, для группы, как и язык, императивны по форме, но бессознательны по своей структуре. И вот в структуре этой, гармония и тупики внутри которой регулируют ограниченный или обобщенный обмен, различаемый в ней этнологией, изумленный теоретик находит всю комбинаторную логику; законы числа, т.е. символа в наиболее чистом его виде, оказываются, таким образом, имманентными изначальному символизму. Во всяком случае в богатстве форм, в которые развиваются т.н. элементарные структуры родства, законы эти без труда прослеживаются. И это наводит на предположение, что лишь неосознанность их посто-

l'alliance sous la loi desquelles nous vivons. Si la statistique déjà laisse entrevoir que cette liberté ne s'exerce pas au hasard, c'est qu'une logique subjective l'orienterait en ses effets.

C'est bien en quoi le complexe d'Œdipe en tant que nous le reconnaissons toujours pour couvrir de sa signification le champ entier de notre expérience, sera dit, dans notre propos, marquer les limites que notre discipline assigne à la subjectivité: à savoir, ce que le sujet peut connaître de sa participation inconsciente au mouvement des structures complexes de l'alliance, en vérifiant les effets symboliques en son existence particullièré du mouvement tangenitiel vers l'inceste qui se manifiste depuis l'avènement d'une communauté universelle.

La Loi primordiale est donc celle qui en réglant l'alliance superpose le règne de la culture au règne de la nature livré à la loi de l'accouplement. L'interdit de l'inceste n'en est que le pivot subjectif, dénudé par la tendance moderne à réduire à la mère et à la sœr les objets interdits aux choix du sujet, toute licence au reste n'étant pas encore ouverte au-delà.

Cette loi se fait donc suffisamment connaître comme identique à un ordre de langage. Car nul pouvoir sans les nominations de la parenté n'est à portée d'instituer l'ordre des préférences et des tabous qui nouent et tressent à travers les générations le fil des lignées. Et c'est bien la confusion des générations qui, dans la Bible comme dans toutes les lois traditionelles, est maudite comme l'abomination du verbe et la désolation du pécheur.

Nous savons en effet quel ravage déjà allant jusqu'à la dissociation de la personnalité du sujet peut exercer une filiation falsifiée, quand la contrainte de l'entourage s'emploie à en soutenir le mensonge. Ils peuvent n'être pas moindres quand un homme épousant la mère de la femme dont il a eu un fils, celui-ci aura pour frère un enfant frère de sa mère. Mais s'il est ensuite, — et le cas n'est pas inventé —, adopté par le ménage compatissant d'une fille d'un mariage antérieur du père, il se trouvera encore une fois demi-frère de sa nouvelle mère, et l'on peut imaginer les sentiments complexes dans lesquels il attendra la naissance d'un enfant qui sera à la fois son frère et son neveu, dans cette situation répétée.

янства еще сохраняет у нас иллюзию в свободе выбора внутри тех якобы сложных брачных структур, под законом которых мы существуем. Недаром статистика дает понять, что свобода эта осуществляется не произвольно; ведь в результатах своих она сориентирована субъективной логикой.

Вот почему, признавая, что значение Эдипова комплекса распространяется на всю область нашего опыта, мы вправе сказать, что именно он определяет границы, которые наша дисциплина предписывает субъективности, т.е. определяет то, что субъект может узнать о своем бессознательном участии в движении сложных структур брачных уз, наблюдая в собственном индивидуальном существовании символические последствия тангенциального движения к инцесту, дающего о себе знать с момента возникновения универсального сообщества.

Изначальным Законом является, следовательно, тот, который, регулируя брачные союзы, ставит над царством природы, где господствует закон спаривания, царство культуры. Запрет инцеста является лишь субъективным стержнем этого закона, очевидным благодаря современной тенденции сводить запрещенные для выбора объекты к сестре и матери, хотя нельзя сказать, что все остальное нам уже позволено.

Закон этот, следовательно, достаточно ясно обнаруживает свою идентичность со строем языка. Ибо без именований родства никакая власть не в силах установить порядок предпочтений и табу, поколениями плетущих и связывающих нити наследственности. Именно смешение поколений Библия и все традиционные законы предают проклятию как словесную скверну и пагубу для грешника.

И мы прекрасно знаем, какое пагубное воздействие, вплоть до разрушения личности, может оказать на субъект фальсификация родственных связей, если ложь находит опору и поддержку в окружении. Не менее пагубные последствия могут возникнуть в случае, когда мужчина берет в жены мать женщины, от которой у него был ребенок: братом этого последнего окажется тогда брат его матери. И если впоследствии — а случай этот не придуман — он был из сочувствия усыновлен семьей дочери от предыдущего брака отца, то оказался сводным братом своей приемной матери, и нетрудно представить, с какими сложными чувствами должен он ожидать рождения ребенка, который придется ему одновременно братом и племянником.

Aussi bien le simple décalage dans les générations qui se produit par un enfant tardif né d'un second mariage et dont la mère jeune se trouve contemporaine d'un frère aîné, peut produire des effets qui s'en rapprochent, et l'on sait que c'était là le cas de Freud.

Cette même fonction de l'identification symbolique par où le primitif se croit réincarner l'ancêtre homonyme et qui détermine même chez l'homme moderne une récurrence alternée des caractères, introduit donc chez les sujets soumis à ces discordances de la relation paternelle une dissociation de l'Œdipe où il faut voir le ressort constant de ses effets pathogènes. Même en effet représentée par une seule personne, la fonction paternelle concentre en elle des relations imaginaires et réelles, toujours plus ou moins inadéquates à la relation symbolique qui la constitue essentiellement.

C'est dans le *nom du père* qu'il nous faut reconnaître le support de la fonction symbolique qui, depuis l'orée des temps historiques, identifie sa personne à la figure de la loi. Cette conception nous permet de distinguer clairement dans l'analyse d'un cas les effets inconscients de cette fonction d'avec les relations narcissiques, voire d'avec les relations réelles que le sujet soutient avec l'image et l'action de la personne qui l'incarne, et il en résulte un mode de compréhension qui va à retenir dans la conduite même des interventions. La pratique nous en a confirmé la fécondité, à nous, comme aux élèves que nous avons induits à cette méthode. Et nous avons eu souvent l'occasion dans des contrôles ou dans des cas communiqués de souligner les confusions nuisibles qu'engendre sa méconnaissance.

Ainsi c'est la vertu du verbe qui perpétue le mouvement de la Grande Dette dont Rabelais, en une métaphore célèbre, élargit jusqu'aux astres l'économie. Et nous ne serons pas surpris que le chapitre où il nous présente avec l'inversion macaronique des noms de parenté une anticipation des découvertes ethnographiques, nous montre en lui la substantifique divination du mystère humain que nous tentons d'élucider ici.

Identifiée au *hau* sacré ou au *mana* omniprésent, la Dette inviolable est la garantie que le voyage où sont poussés femmes et biens ramène

Даже простое смещение поколений, происходящее с рождением позднего ребенка от второго брака, молодая мать которого оказывается ровесницей его старшего брата, может привести к почти таким же последствиям; как известно, сам Фрейд был именно в такой ситуации.

Та самая функция символической идентификации, с помощью которой первобытный человек воплощает в себе носившего его имя предка и которая обуславливает повторение ряда чередующихся характеров у современного человека, у субъектов, отношения которых с отцом оказались тем или иным образом нарушены, вызывает распад Эдипова комплекса, в котором и следует видеть источник дальнейших патогенных эффектов. Даже будучи представлена единственным лицом отцовская функция сосредотачивает в этом лице воображаемые и реальные отношения, которые всегда более или менее неадекватны символическому отношению, конституирующему ее сущность.

Именно в *имени отца* следует видеть носителя символической функции, которая уже на заре человеческой истории идентифицирует его лицо с образом закона. В ходе анализа данная концепция позволяет нам ясно отличать бессознательные эффекты этой функции как от нарциссических отношений, так и от отношений реальных, которые субъект поддерживает с образом и действиями лица, ее воплощающего; в результате рождается определенная форма понимания, отражающаяся на характере аналитического вмешательства. Практика убедила в плодотворности этого метода как нас самих, так и учеников, его у нас заимствовавших. И наоборот, в процессе контроля, в совместной аналитической работе, мы неоднократно имели случай обращать внимание на опасную путаницу, порождаемую непониманием этого метода.

Итак, именно сила слова увековечивает движение Великого Долга, власть которого Рабле, в своей знаменитой метафоре, распространяет на всю поднебесную. И нет ничего удивительного, что именно в главе, где макароническая инверсия именования степеней родства предвосхищает этнографические открытия нашего времени, обнаруживается прозрение Рабле в самую сердцевину той человеческой тайны, которую, что мы стараемся здесь прояснить.

Нерушимый Долг, идентифицируемый со священным «hau» или вездесущим «mana», служит гарантией того, что путешествие, в которое отправляются женщины и добро, непременно, совершив

en un cycle sans manquement à leur point de départ d'autres femmes et d'autres biens, porteurs d'une entité identique: symbole zéro, dit Lévi-Strauss, réduisant à la forme d'un signe algébrique le pouvoir de la Parole.

Les symboles enveloppent en effet la vie de l'homme d'un réseau si total qu'ils conjoignent avant qu'il vienne au monde ceux qui vont l'engendrer «par l'os et par la chair», qu'ils apportent à sa naissance avec les dons des astres, sinon avec les dons des fées, le dessin de sa destinée, qu'ils donnent les mots qui le feront fidèle ou renégat, la loi des actes qui le suivront jusque-là même où il n'est pas encore et au-delà de sa mort même, et que par eux sa fin trouve son sens dans le jugement dernier où le verbe absout son être ou le condamne, — sauf à atteindre à la réalisation subjective de l'être-pour-la mort.

Servitude et grandeur où s'anéantirait le vivant, si le désir ne préservait sa part dans les interférences et les battements que font converger sur lui les cycles du langage, quand la confusion des langues s'en mêle et que les ordres se contrarient dans les déchirements de l'œuvre universelle.

Mais ce désir lui-même, pour être satisfait dans l'homme, exige d'être reconnu, par l'accord de la parole ou par la lutte de prestige, dans le symbole ou dans l'imaginaire.

L'enjeu d'une psychanalyse est l'avènement dans le sujet du peu de réalité que ce désir y soutient au regard des conflits symboliques et des fixations imaginaires comme moyen de leur accord, et notre voie est l'expérience intersubjective où ce désir se fait reconnaître.

Dès lors on voit que le problème est celui des rapports dans le sujet de la parole et du langage.

Trois paradoxes dans ces rapports se présentent dans notre domaine.

Dans la folie, quelle qu'en soit la nature, il nous faut reconnaître, d'une part, la liberté négative d'une parole qui a renoncé à se faire reconnaître, soit ce que nous appelons obstacle au transfert, et, d'autre part, la formation singulière d'un délire qui, — fabulatoire, fantastique ou cosmologique —, interprétatif, revendicateur ou idéaliste —, objective le sujet dans un langage sans dialectique[21].

положенный цикл, вернет в точку отправления других женщин и другое добро, в своей сущности идентичных отправленным; Леви-Стросс называет это нулевым символом, сводя тем самым могущество Речи к форме алгебраического знака.

Символы и в самом деле опутывают жизнь человека густой сетью: это они еще прежде его появления в мире сочетают тех, от кого суждено ему произойти «по плоти»; это они уже к рождению его приносят вместе с дарами звезд, а то и с дарами фей, очертания его будущей судьбы; это они дают слова, которые сделают из него исповедника или отступника и определят закон действий, которые будут преследовать его даже там, где его еще нет, вплоть до жизни за гробом; и это благодаря им кончина его получит свой смысл на Страшном суде, где — не сумей он достичь субъективной реализации бытия-к-смерти — Словом его бытие оправдается или Словом же осудится.

Вот рабство и величие, в которых живое существо бесследно исчезло бы, если бы по смешении языков, когда противоречащие друг другу веления развалили общее дело, желание не сохранилось в интерференциях и пульсациях, сходящихся на нем в круговоротах языка.

Но само желание это, чтобы быть в человеке удовлетворенным, требует признания в символе или же в регистре воображаемого, что оборачивается поисками речевого согласия или борьбой за престиж.

Задача психоанализа состоит в том, чтобы воцарилась в субъекте толика реальности, которую желание это поддерживает в нем по отношению к символическим конфликтам и воображаемым фиксациям как средство их согласования; наш путь — это тот интерсубъективный опыт, в котором желание достигает признания.

Теперь становится ясно, что вся проблема состоит в отношениях речи и языка внутри субъекта.

В пределах нашей области мы наблюдаем в этих отношениях три парадокса.

В безумии, какова бы ни была его природа, мы должны различать, с одной стороны, отрицательную свободу речи, не притязающей более на признание, т.е. то, что мы называем препятствием к переносу, и, с другой стороны, своеобразные формы бреда, который — сказочный ли, фантастический, космологический, — требовательный, интерпретирующий или идеалистический, — объективирует субъект в лишенном диалектики языке[21].

L'absence de la parole s'y manifeste par les stéréotypies d'un discours où le sujet, peut-on dire, est parlé plutôt qu'il ne parle: nous y reconaissons les symboles de l'inconscient sous des formes pétrifiées qui, à côté des formes embaumées où se présentent les mythes en nos recueils, trouvent leur place dans une histoire naturelle de ces symboles. Mais c'est une erreur de dire que le sujet les assume: la résistance à leur reconnaissance n'étant pas moindre que dans les névroses, quand le sujet y est induit par une tentative de cure.

Notons au passage qu'il vaudrait de repérer dans l'espace social les places que la culture a assignées à ces sujets, spécialement quant à leur affectation à des services sociaux afférents au langage, car il n'est pas invraisemblable que s'y démontre un des facteurs qui désignent ces sujets aux effets de rupture produite par les discordances symboliques, caractéristiques des structures complexes de la civilisation.

Le second cas est représenté par le champ privilégié de la découverte psychanalytique: à savoir les symptômes, l'inhibition et l'angoisse, dans l'économie constituante des différentes névroses.

La parole est ici chassée du discours concret qui ordonne la conscience, mais elle trouve son support ou bien dans les fonctions naturelles du sujet, pour peu qu'une épine organique y amorce cette béance de son être individuel à son essence, qui fait de la maladie l'introduction du vivant à l'existence du sujet [22], — ou bien dans les images qui organisent à la limite de *l'Umwelt* et de *l'Innenwelt* leur structuration relationnelle.

Le symptôme est ici le signifiant d'un signifié refoulé de la conscience du sujet. Symbole écrit sur le sable de la chair et sur le voile de Maïa, il participe du langage par l'ambiguïté sémantique que nous avons déjà soulignée dans sa constitution.

Mais c'est une parole de plein exercice car, elle inclut le discours de l'autre dans le secret de son chiffre.

C'est en déchiffrant cette parole que Freud a retrouvé la langue première des symboles [23], vivante encore dans la souffrance de l'homme de la civilisation (*Das Unbehagen in der Kultur*).

Hiéroglyphes de l'hystérie, blasons de la phobie, labyrinthes de la *Zwangsneurose*, — charmes de l'impuissance, énigmes de l'inhibition,

Отсутствие речи обнаруживает себя в стереотипах дискурса, где субъект не столько говорит, сколько сказывается; символы бессознательного являются нам здесь в окаменевших формах, которые, наряду с мумифицированными формами, в которых сохраняются мифы в наших книгах по мифологии, находят себе место в естественной истории этих символов. Ошибочно, однако, полагать, будто субъект их усваивает, ибо сопротивление их признанию оказывается не меньшее, чем в случае неврозов, когда субъекта толкает на это сопротивление попытка лечения.

По ходу дела заметим, что полезно было бы проследить, какие места в социальном пространстве определяет для этих субъектов наша культура, особенно в отношении предоставления им социальных ролей, имеющих отношение к языку, ибо вполне вероятно, что при этом обнаружится один из факторов, делающих эти субъекты жертвами разрыва, вызванного характерными для сложных структур цивилизации символическими несоответствиями.

Второй случай представлен привилегированной областью психоаналитического открытия, т.е. симптомами торможения и страха в картине различных неврозов.

Речь изгнана здесь из упорядочивающего сознание конкретного дискурса, но находит себе опору либо в естественных функциях субъекта — что происходит, если какое-нибудь органическое расстройство провоцирует разрыв между индивидуальным бытием и его сущностью, благодаря которому болезнь становится посвящением живого существа в существование субъекта [22], — либо в образах, организующих структуру тех отношений, которые возникают между *Umwelt* и *Innenwelt* на их границе.

Симптом является здесь означающим вытесненного из сознания субъекта означаемого. Символ, начертанный на песке плоти и на покрывале Майи, он причастен языку в силу той семантической двусмысленности, которая уже отмечалась нами в его строении.

Но это и есть полноценно функционирующая речь, ибо в секрет ее шифра включен дискурс другого.

Именно расшифровка этой речи и привела Фрейда к открытию того первичного языка символов [23], что в неудовлетворенности человека, принадлежащего цивилизации (*Das Unbehagen in der Kultur*) дает о себе знать и поныне.

Иероглифы истерии, гербы фобии, лабиринты *Zwangsneurosen*, прелести бессилия, тайны внутреннего запрета, оракулы страха; говорящие гербы характера [24], печати самобичевания, маски изв-

oracles de l'angoisse, — armes parlantes du caractère[24], sceaux de l'autopunition, déguisements de la perversion, — tels sont les hermétismes que notre exégèse résout, les équivoques que notre invocation dissout, les artifices que notre dialectique absout, dans une délivrance du sens emprisonné, qui va de la révélation du palimpseste au mot donné du mystère et au pardon de la parole.

Le troisième paradoxe de la relation du langage à la parole est celui du sujet qui perd son sens dans les objectivations du discours. Si métaphysique qu'en paraisse la définition, nous n'en pouvons méconnaître la présence au premier plan de notre expérience. Car c'est là l'aliénation la plus profonde du sujet de la civilisation scientifique et c'est elle que nous rencontrons d'abord quand le sujet commence à nous parler de lui: aussi bien, pour la résourdre entièrement, l'analyse devrait-elle être menée jusqu'au terme de la sagesse.

Pour en donner une formation exemplaire, nous en saurions trouver terrain plus pertinent que l'usage du discours courant en faisant remarquer que le «ce suis-je» du temps de Villon s'est renversé dans le «c'est moi» de l'homme moderne.

Le moi de l'homme moderne a pris sa forme, nous l'avons indiqué ailleurs, dans l'impasse dialectique de la belle âme qui ne reconnaît pas la raison même de son être dans le désordre qu'elle dénonce dans le monde.

Mais une issue s'offre au sujet pour la résolution de cette impasse où délire son discours. La communication peut s'établir pour lui valablement dans l'œuvre commune de la science et dans les emplois qu'elle commande dans la civilisation universelle; cette communication sera effective à l'intérieur de l'énorme objectivation constituée par cette science et elle lui permettra d'oublier sa subjectivité. Il collaborera efficacement à l'œuvre commune dans son travail quotidien et meublera ses loisirs de tous les agréments d'une culture profuse qui, du roman policier aux mémoires historiques, des conférences éducatives à l'orthopédie des relations de groupe, lui donnera matière à oublier son existence et sa mort, en même temps qu'à méconnaître dans une fausse communication le sens particulier da sa vie.

Si le sujet ne retrouvait dans une régression, souvent poussée jusqu'au stade du miroir, l'enceinte d'un stade où son *moi* contient ses exploits imaginaires, il n'y aurait guère de limites assignables à la crédulité à laquelle il doit succomber dans cette situation. Et c'est ce qui

ращения — вот недомолвки, которые наше толкование разрешает; двусмысленности, которые наш призыв рассеивает; уловки, которые оправдывает наша диалектика на пути освобождения плененного смысла, начиная от раскрытия палимпсеста и кончая разгадкой тайны и прощением речи.

Третий парадокс отношения языка к речи — это парадокс субъекта, теряющего свой смысл в объективациях дискурса. Сколь бы метафизичным ни казалось нам такое определение, мы не можем не признать присутствие этого парадокса на первом плане нашего опыта. Именно здесь имеет место наиболее глубокое отчуждение субъекта научной цивилизации, и именно с этим отчуждением мы сталкиваемся сразу же, как только субъект начинает о себе говорить; для полного его преодоления анализу пришлось бы приблизиться к границам мудрости.

В поисках образцовой формулировки этого парадокса нет почвы более благоприятной, нежели речевой обиход. Обратившись к нему, мы заметим, что на смену *это* [*есмь*] *я* современников Вийона у нас пришло *это* [*есть*] *«мое я»*.

Мое я современного человека сформировалось, как мы уже говорили, в диалектическом тупике «прекрасной души», не умеющей разглядеть в обличаемом ею хаосе мира причины собственного своего бытия.

Но из тупика этого, где дискурс субъекта приобретает характер бреда, ему предлагается выход. Он может вступить в полноценное общение в рамках общего дела науки и в тех ролях, которые принадлежат ей в мировой цивилизации; внутри колоссальной объективации, этой наукой обусловленной, общение это будет эффективным и позволит ему забыть о своей субъективности. Он примет деятельное участие в этом общем деле своим повседневным трудом и заполнит свой досуг всеми щедрыми благами культуры, которые — от детектива до исторических мемуаров, от общеобразовательных лекций до ортопедии группового общения — дадут ему все необходимое, чтобы забыть о своем существовании и смерти и в мнимом общении пренебречь смыслом своей собственной жизни.

Если бы в регрессии, зачастую доводимой вплоть до стадии зеркала, субъект не нащупывал ограду арены, на которой «его собственное я» вершит свои воображаемые подвиги, то доверчивость, жертвой которой он неминуемо должен в этой ситуации пасть, не имела бы границ. Именно это возлагает на нас поистине страш-

fait notre responsabilité redoutable quand nous lui apportons, avec les manipulations mythiques de notre doctrine, une occasion supplémentaire de s'aliéner, dans la trinité décomposée de l'*ego*, du *superego* et de l'*id*, par exemple.

Ici c'est un mur de langage qui s'oppose à la parole, et les précautions contre le verbalisme qui sont un thème du discours de l'homme «normal» de notre culture, ne font qu'en renforcer l'épaisseur.

Il ne serait pas vain de mesurer celle-ci à la somme statistiquement déterminée des kilogrammes de papier imprimé, de kilomètres des sillons discographiques, et des heures d'émission radiophonique, que ladite culture produit par tête d'habitant dans les zones A, B et C de son aire. Ce serait un bel objet de recherche pour nos organismes culturels, et l'on y verrait que la question du langage ne tient pas toute dans l'aire des circonvolutions où son usage se réfléchit dans l'individu.

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas!

et la suite.

La ressemblance de cette situation avec l'aliénation de la folie pour autant que la forme donnée plus haut est authentique, à savoir que le sujet y est parlé plutôt qu'il ne parle, ressortit évidemment à l'exigence, supposée par la psychanalyse, d'une parole vraie. Si cette conséquence, qui porte à leur limite les paradoxes constituants de notre actuel propos, devait être retournée contre le bon sens même de la perspective psychanalytique, nous accorderions à cette objection toute sa pertinence, mais pour nous en trouver confirmé: et ce par un retour dialectique où nous ne manquerions pas de parrains autorisés, à commencer par la dénonciation hégélienne de la «philosophie du crâne» et à seulement nous arrêter à l'avertissement de Pascal résonnant, de l'orée de l'ère historique du «moi», en ces termes: «les hommes sont si nécessairement fous, que ce serait être fou par un autre tour de folie, de n'être pas fou.»

ную ответственность, когда пользуясь мифическими манипуляциями своего учения мы создаем для субъекта дополнительную возможность отчуждения — например, в распадающейся троице *ego*, *superego*, и *id*.

Здесь на пути речи встает стена языка, и предостережения против пустословия, служащие темой разговоров «нормального» человека нашей культуры, только делают эту стену толще.

Толщину ее вполне можно было бы выразить в статистическим путем рассчитанной сумме килограммов полиграфической продукции, километров дорожек грамофонной записи и часов радиовещания, которую производит данная культура на душу населения в зонах А, В и С своего распространения. Это могло бы дать нашим культурным организациям отличный объект для исследований, и в результате сразу стало бы ясно, что вопрос языка не вмещается в пространство мозговых извилин, где отражаются его использование в индивиде.

We are the hollow men
We are the stuffed men
Leaning together
Headpiece filled with straw. Alas! *

и так далее

Но коль скоро приведенная нами выше формула — т.е. субъект не говорит, а сказывается — адекватна, то сходство этой ситуации с отчуждением, имеющим место в безумии, с очевидностью следует из предполагаемого психоанализом требования «истинной» речи. Если следствие это, предельно заостряющее парадоксальность того, о чем здесь говорится, стали бы использовать как свидетельство об отсутствии в психоаналитической перспективе здравого смысла, мы вполне признали бы основательность возражения, но обнаружили бы в нем лишнее подтверждение своей позиции, сделав для этого диалектический ход, у которого немало законных крестных: вспомним хотя бы Гегеля, выступавшего против «черепной философии», и предупреждения Паскаля, вторящего ему, еще на заре исторической эры «моего собственного я»: «люди с такой необходимостью являются сумасшедшими, что не быть сумасшедшим значило бы просто быть сумасшедшим на новом витке сумасшествия».

4

Ce n'est pas dire pourtant que notre culture se poursuive dans des ténèbres extérieures à la subjectivité créatrice. Celle-ci, au contraire, n'a pas cessé d'y militer pour renouveler la puissance jamais tarie des symboles dans l'échange humain qui les met au jour.

Faire état du petit nombre des sujets qui supportent cette création serait céder à une perspective romantique en confrontant ce qui n'est pas équivalent. Le fait est que cette subjectivité, dans quelque domaine qu'elle apparaisse, mathématique, politique, religieuse, voire publicitaire, continue d'animer dans son ensemble le mouvement humain. Et une prise de vue non moins illusoire sans doute nous ferait accentuer ce trait opposé: que son caractère symbolique n'a jamais été plus manifeste. C'est l'ironie des révolutions qu'elles engendrent un pouvoir d'autant plus absolu en son exercice, non pas, comme on le dit, de ce qu'il soit plus anonyme, mais de ce qu'il est plus réduit aux mots qui le signifient. Et plus que jamais, d'autre part, la force des églises réside dans le langage qu'elles ont su maintenir: instance, il faut le dire, que Freud a laissée dans l'ombre dans l'article où il nous dessine ce que nous appellerons les subjectivités collectives de l'Eglise et de l'Armée.

La psychanalyse a joué un rôle dans la direction de la subjectivité moderne et elle ne saurait le soutenir sans l'ordonner au mouvement qui dans la science l'élucide.

C'est là le problème des fondements qui doivent assurer à notre discipline sa place dans les sciences: problème de formalisation, à la vérité fort mal engagé.

Car il semble que, ressaisis par un travers même de l'esprit médical à l'encontre duquel la psychanalyse a dû se constituer, ce soit à son exemple avec un retard d'un demi-siècle sur le mouvement des sciences que nous cherchions à nous y rattacher.

Objectivation abstraite de notre expérience sur des principes fictifs, voire simulés de la méthode expérimentale: nous trouvons là l'effet de préjugés dont il faudrait nettoyer d'abord notre champ si nous voulons le cultiver selon son authentique structure.

Этим мы вовсе не хотим, однако, сказать, будто культура наша по отношению к творческой субъективности пребывает во тьме внешней. Напротив, субъективность эта никогда не оставляла борьбы за обновление неисчерпаемого могущества символов в рождающем их межчеловеческом обмене.

Придавать значение немногочисленности субъектов, которые являются носителями этой творческой активности, было бы отступлением на точку зрения романтизма, сопоставляющую явления, отнюдь между собой не эквивалентные. Дело в том, что субъективность эта, в какой бы области она ни проявлялась — в политике ли, в математике, в религии, или даже в рекламе — продолжает оставаться одушевляющим началом всего движения человечества в целом. Другой же взгляд, не менее обманчивый, заставил бы нас отметить противоположную ее черту: никогда еще не проступал так явно ее символический характер. Ирония революций состоит в том, что они порождают власть тем более абсолютную в своих проявлениях не оттого, что, как считают многие, она более анонимна, а оттого, что она в большей степени сводится к означающим ее словам. И более чем когда-либо, с другой стороны, власть церквей обусловлена языком, который они сумели сохранить — момент, который, надо сказать, остался несколько в тени у Фрейда в той статье, где он описывает то, что мы назвали бы коллективными субъективностями церкви и армии.

Психоанализ сыграл определенную роль в ориентации современной субъективности, и он не сможет сохранить эту роль, не согласовав ее с тем направлением современной науки, которое вносит в нее ясность.

В этом и состоит проблема основания, которое должно обеспечить нашей дисциплине подобающее место среди других наук: проблема формализации, по сути дела совсем еще не разработанная.

Ибо похоже, что теперь, когда медицинское мышление, в борьбе с которым складывался некогда психоанализ, вновь возобладало в нем, нам, чтобы догнать науку, предстоит, как и самой медицине, преодолеть отставание на добрых полвека.

В абстрактной объективации нашего опыта на фиктивных, а то и вообще симулированных, принципах экспериментального метода, мы видим результат предрассудков, от которых наше поле необходимо очистить, прежде чем мы начнем разрабатывать его в соответствии с его подлинной структурой.

Practiciens de la fonction symbolique, il est étonnant que nous nous détournions de l'approfondir, au point de méconnaître que c'est elle qui nous situe au cœur du mouvement qui instaure un nouvel ordre des sciences, avec une remise en question de l'anthropologie.

Ce nouvel ordre ne signifie rien d'autre qu'un retour à une notion de la science véritable qui a déjà ses titres inscrits dans une tradition qui part du *Théétète*. Cette notion s'est dégradée, on le sait, dans le renversement positiviste qui, en plaçant les sciences de l'homme au couronnement de l'édifice des sciences expérimentales, les y subordonne en réalité. Cette notion provient d'une vue erronée de l'histoire de la science, fondée sur le prestige d'un développement spécialisé de l'expérience.

Mais aujourd'hui les sciences conjecturales retrouvant la notion de la science de toujours, nous obligent à réviser la classification des sciences que nous tenons du XIXe siècle, dans un sens que les esprits les plus lucides dénotent clairement.

Il n'est que de suivre l'évolution concrète des disciplines pour s'en apercevoir.

La linguistique peut ici nous servir de guide, puisque c'est là le rôle quelle tient en flèche de l'anthropologie contemporaine, et nous ne saurions y rester indifférent.

La forme de la mathématisation où s'inscrit la découverte du *phonème* comme fonction des couples d'opposition formés par les plus petits éléments discriminatifs saisissables de la sémantique, nous mène aux fondements mêmes où la dernière doctrine de Freud désigne, dans une connotation vocalique de la présence et de l'absence, les sources subjectives de la fonction symbolique.

Et la réduction de toute langue au groupe d'un tout petit nombre de ces oppositions phonémiques amorçant une aussi rigoureuse formalisation de ses morphèmes les plus élevés, met à notre portée un abord strict de notre champ.

A nous de nous en appareiller pour y trouver nos incidences, comme fait déjà, d'être en une ligne parallèle, l'ethnographie en déchiffrant les mythes selon la synchronie des mythèmes.

N'est-il pas sensible qu'un Lévi-Strauss en suggérant l'implication des structures du langage et de cette part des lois sociales qui règle l'al-

Странно, что мы, чья практика опирается на символическую функцию, отказываемся от попыток углубить ее, не желая признать, что именно благодаря ей мы оказываемся в центре движения, которое устанавливает новый порядок наук, ведущий к пересмотру традиционной антропологии.

Этот новый порядок означает не что иное, как возврат к понятию истинной науки, заявившей о себе в традиции, отправляющейся от *Теэтета*. Как известно, понятие это было искажено позитивистской революцией, которая, поместив науки о человеке на вершину пирамиды экспериментальных наук, на деле их этим наукам подчинила. Объясняется такое положение дел ошибочным взглядом на историю науки, основанным на престиже специализированного экспериментирования.

Но в наши дни, когда науки, основанные на предположениях, открывают издавна бытовавшее понятие о науке заново, мы обязаны пересмотреть унаследованную от 19-го столетия классификацию наук под углом зрения, на который наиболее проницательные умы совершенно ясно указывают.

Чтобы отдать себе в этом отчет, достаточно проследить ход конкретной эволюции различных дисциплин.

Проводником при этом нам может послужить лингвистика, ибо именно она находится на острие современных антропологических исследований, и пройти мимо этого факта мы не вправе.

Математизированная форма, в которую вписывается открытие *фонемы* как функции парных оппозиций, образованных наименьшими доступными восприятию различительными элементами семантики, приводит нас к основам позднейшего учения Фрейда, усматривающего субъективные источники символической функции в огласовке присутствия и отсутствия.

Сведение же всякого языка к небольшому числу подобных фонематических оппозиций, полагая начало жесткой формализации морфем самого высокого порядка, открывает перед нами возможность строгого исследования интересующего нас поля.

От нас самих зависит, как мы этим готовым аппаратом воспользуемся; параллельно с нами это уже сделала современная этнография, которая расшифровывает мифы, опираясь на синхронию мифем.

Не замечательно ли, что Леви-Стросс, проводящий мысль о причастности структур языка к социальным законам регуляции брач-

liance et la parenté conquiert déjà le terrain même où Freud assoit l'inconscient [25]?

Dès lors, il est impossible de ne pas axer sur une théorie générale du symbole une nouvelle classification de sciences où les sciences de l'homme reprennent leur place centrale en tant que sciences de la subjectivité. Indiquons-en le principe, qui ne laisse pas d'appeler l'élaboration.

La fonction symbolique se présente comme un double mouvement dans le sujet: l'homme fait un objet de son action, mais pour rendre à celle-ci en temps voulu sa place fondatrice. Dans cette équivoque, opérante à tout instant, gît tout le progrès d'une fonction où alternent action et connaissance [26].

Exemples empruntés l'un aux bancs de l'école, l'autre au plus vif de notre époque:

— le premier mathématique: premier temps, l'homme objective en deux nombres cardinaux deux collections qu'il a comptées,

— deuxième temps, il réalise avec ces nombres l'acte de les additionner (cf. l'exemple cité par Kant dans l'introduction à l'esthétique transcendantale, §IV dans la 2e édition de la *Critique de la raison pure)*;

— le second historique: premier temps, l'homme qui travaille à la production dans notre société, se compte au rang des prolétaires, — deuxième temps, au nom de cette appartenance, il fait la grève générale.

Si ces deux exemples se lèvent, pour nous, des champs les plus contrastés dans le concret: jeu toujours plus loisible de la loi mathématique, front d'airain de l'exploitation capitaliste, c'est que, pour nous paraître partir de loin, leurs effets viennent à constituer notre subsistance, et justement de s'y croiser en un double renversement: la science la plus subjective ayant forgé une réalité nouvelle, la ténèbre du partage social s'armant d'un symbole agissant.

Ici n'apparaît plus recevable l'opposition qu'on tracerait des sciences exactes à celles pour lesquelles il n'y a pas lieu de décliner l'appellation de conjecturales: faute de fondement pour cette opposition [27].

ных союзов, вступил на ту самую территорию, которую отвел для бессознательного Фрейд? [25]

Отныне уже невозможно не сделать общую теорию символа осью новой классификации наук, в которой науки о человеке вновь займут свое центральное место как науки о субъективности. Укажем их основной принцип, нуждающийся еще, конечно, в дальнейшей разработке.

Символическая функция обнаруживает себя как двойное движение внутри субъекта: человек сначала превращает свое действие в объект, но затем, в нужное время, снова восстанавливает это действие в качестве основания. Двусмысленность этой каждый момент дающей о себе знать процедуры и задает поступательный ход функции, непрерывно чередующей действие и познание [26].

Два примера: один заимствован со школьной скамьи, другой из нашей повседневности.

Первый пример, математический: на начальном этапе человек объективирует в двух количественных числительных два сосчитанных им множества предметов; на втором этапе он с помощью этих чисел осуществляет акт сложения множеств (ср. пример, приводимый Кантом в параграфе 4 *Введения в трансцендентальную эстетику* во втором издании *Критики чистого разума.*)

Другой пример, исторический: на первом этапе человек, занятый в общественном производстве, зачисляет себя в разряд пролетариев, на втором он, во имя принадлежности к ним, принимает участие во всеобщей забастовке.

Если примеры эти взяты из конкретных областей, представляющихся нам прямо противоположными — все более широкое применение математического закона с одной стороны, «медный лоб» капиталистической эксплуатации, с другой, — то объясняется это тем, что несмотря на кажущуюся их отдаленность следствия их в равной мере основоположны и в процессе описанного нами двойного превращения неизбежно друг с другом пересекаются: наиболее субъективная из наук созидает новую реальность, а тень общественного распределения берет на вооружение действенный символ.

Похоже, что противопоставление точных наук тем, от наименования которых «предположительными» мы не станем отказываться, становится неприемлемым ввиду отсутствия для такого противопоставления какого-либо основания [27].

Car l'exactitude se distingue de la vérité, et la conjecture n'exclut pas la rigueur. Et si la science expérimentale tient des mathématiques son exactitude, son rapport à la nature n'en reste pas moins problématique.

Si notre lien à la nature, en effet, nous incite à nous demander poétiquement si ce n'est pas son propre mouvement que nous retrouvons dans notre science, en

> ... *cette voix*
> Qui se connaît quand elle sonne
> N'être plus la voix de personne
> Tant que des ondes et des bois.

il est clair que notre physique n'est qu'une fabrication mentale, dont le symbole mathématique est l'instrument.

Car la science expérimentale n'est pas tant définie par la quantité à quoi elle s'applique en effet, que par la mesure qu'elle introduit dans le réel.

Comme il se voit pour la mesure du temps sans laquelle elle serait impossible. L'horloge de Huyghens qui seule lui donne sa précision, n'est que l'organe réalisant l'hypothèse de Galilée sur l'équigravité des corps, soit sur l'accélération uniforme qui donne sa loi, d'être la même, à toute chute.

Or il est plaisant de relever que l'appareil a été achevé avant que l'hypothèse ait pu être vérifiée par l'observation, et que de ce fait il la rendait inutile du même temps qu'il lui offrait l'instrument de sa rigueur [28].

Mais la mathémathique peut symboliser un autre temps, notamment le temps intersubjectif qui structure l'action humaine, dont la théorie des jeux, dite encore stratégie, qu'il vaudrait mieux appeler *stochastique*, commence à nous liver les formules.

L'auteur de ces lignes a tenté de démontrer en la logique d'un sophisme les ressorts de temps par où l'action humaine, en tant qu'elle s'ordonne à l'action de l'autre, trouve dans la scansion de ses hésitations l'avènement de sa certitude, et dans la décision qui la conclut donne

Ибо точность отлична от истины, а предположение отнюдь не исключает строгости. И если экспериментальная наука получает от математики точность, ее отношение к природе не становится от этого менее проблематичным.

Если связь наша с природой действительно рождает в нас поэтически окрашенный вопрос о том, не ее ли собственное движение открываем мы заново в своей науке, слыша

...голос тот,
Который знает,
Что он теперь ничей,
Как глас деревьев и вод» *,

то очевидно, что физика наша есть лишь ментальная конструкция, инструментом которой является математический символ.

Ибо экспериментальная наука определяется не столько количеством, к которому она действительно применяется, сколько мерой, которую она вводит в реальное.

Это явствует уже из измерения времени, без которого экспериментальная наука была бы невозможна. Часы Гюйгенса, которые, собственно, и обеспечивают ее точность, являются всего-навсего органом, реализующим гипотезу Галилея о гравитации тел, т.е. о равномерности ускорения, которое, будучи всегда одним и тем же, определяет закон всякого падения.

Забавно, однако, что прибор был изготовлен раньше, нежели гипотеза эта могла быть подтверждена наблюдениями, и что тем самым часы сделали наблюдения бесполезными, одновременно сообщив им необходимую строгость [28].

Но математика может символизировать другое время — то организующее человеческую деятельность интерсубъективное время, формулы которого мы начинаем получать из теории игр, именуемой все еще стратегией, хотя лучше всего было бы называть ее *стохастикой.*

Автор этих строк пытался некогда выявить в логике одного софизма временные пружины, посредством которых действия человека, сообразуясь с действиями другого, обретают в следовании метрике его колебаний приход уверенности, и в венчающем эту уверенность решении дают действиям другого — которые они от-

à l'action de l'autre qu'elle inclut désormais, avec sa sanction quant au passé, son sens à venir.

On y démontre que c'est la certitude anticipée par le sujet dans le *temps pour comprendre* qui, par la hâte précipitant *le moment de conclure*, détermine chez l'autre la décision qui fait du propre mouvement du sujet erreur ou vérité.

On voit par cet exemple comment la formalisation mathématique qui a inspiré la logique de Boole, voire la théorie des ensembles, peut apporter à la science de l'action humaine cette structure du temps intersubjectif, dont la conjecture psychanalytique a besoin pour s'assurer dans sa rigueur.

Si, d'autre part, l'histoire de la technique historienne montre que son progrès se définit dans l'idéal d'une identification de la subjectivité de l'historien à la subjectivité constituante de l'historisation primaire où s'humanise l'événement, il est clair que la psychanalyse y trouve sa portée exacte: soit dans la connaissance, comme réalisant cet idéal, et dans l'efficacité, comme y trouvant sa raison. L'exemple de l'histoire dissipe aussi comme un mirage ce recours à la réaction vécue qui obsède notre technique comme notre théorie, car l'historicité fondamentall de l'événement que nous retenons suffit pour concevoir la possibilité d'une reproduction subjective du passé dans le présent.

Plus encore, cet exemple nous fait saisir comment la régression psychanalytique implique cette dimension progressive de l'histoire du sujet dont Freud nous souligne qu'il fait défaut au concept jungien de la régression névrotique, et nous comprenons comment l'expérience elle-même renouvelle cette progression en assurant sa relève.

La référence enfin à la linguistique nous introduira à la méthode qui, en distinguant les structurations synchroniques des structurations diachroniques dans le langage, peut nous permettre de mieux comprendre la valeur différente que prend notre langage dans l'interprétation des résistances et du transfert, ou encore de différencier les effets propres du refoulement et de la structure du mythe individuel dans la névrose obsessionnelle.

ныне включают — подтверждение (в отношении прошлого) и смысл, который им предстоит получить в будущем.

Тем самым доказывается, что именно уверенность, предвосхищаемая субъектом в промежутке *времени для понимания*, определяет — в спешке, ускоряющей *момент заключения*, — решение другого, в зависимости от которого собственное движение субъекта становится ошибкой или же истиной.

На этом примере видно, каким образом математическая формализация, вдохновившая логику Буля, не говоря уж о теории множеств, может привнести в науку о человеческом действии то понятие структуры интерсубъективного времени, в котором нуждается для обеспечения строгости своих выводов психоаналитическая гипотеза.

Если, с другой стороны, история техники исторической науки показывает, что идеальной мерой ее прогресса служит идентификация субъективности историка с субъективностью, конституирующей первичную историзацию, в которой событие очеловечивается, то очевидно, что психоанализ в точности в эту меру укладывается, — как в отношении познания, поскольку он именно этот идеал реализует, так и в отношении эффективности, которая получает здесь свое обоснование. К тому же пример истории рассеивает мираж «переживаемой реакции», которым одержима как наша техника, так и наша теория, ибо основополагающей историчности запоминаемого события вполне достаточно для того, чтобы представить себе возможность субъективного воспроизведения прошлого в настоящем.

Более того, пример этот позволяет нам понять, каким образом психоаналитическая регрессия может включить в себя то поступательное измерение истории субъекта, которого, по мнению Фрейда, не хватало концепции невротической регрессии Юнга. В результате нам становится понятно и то, каким образом сам опыт стимулирует это поступательное движение, обеспечивая его возобновление.

И, наконец, обращение к лингвистике открывает доступ к методу, который, различая в языке диахронические и синхронические структурные образования, позволяет нам лучше понять различный смысл, приобретаемый нашим языком в интерпретациях сопротивления и переноса, а также научиться отличать последствия вытеснения от структуры индивидуального мифа в обсессивных неврозах.

On sait la liste des disciplines que Freud désignait comme devant constituer les sciences annexes d'une idéale Faculté de psychanalyse. On y trouve, auprès de la psychiatrie et de la sexologie, «l'histoire de la civilisation, la mythologie, la psychologie des religions, l'histoire et la critique littéraires».

L'ensemble de ces matières déterminant le *cursus* d'un enseignement technique, s'inscrit normalement dans le triangle épistémologique que nous avons décrit et qui donnerait sa méthode à un haut enseignement de sa théorie et de sa technique.

Nous y ajouterons volontiers, quant à nous: la rhétorique, la dialectique au sens technique que prend ce terme dans les *Topiques* d'Aristote, la grammaire, et, pointe suprême de l'esthétique du langage: la poétique, qui inclurait la technique, laissée dans l'ombre, du mot d'esprit.

Et si ces rubriques évoquaient pour certains des résonances un peu désuètes, nous ne répugnerions pas à les endosser comme d'un retour à nos sources.

Car la psychanalyse dans son premier développement, lié à la découverte et à l'étude des symboles, allait à participer de la structure de ce qu'au Moyen Age on appelait «arts libéraux». Privée comme eux d'une formalisation véritable, elle s'organisait comme eux en un corps de problèmes privilégiés, chacun promu de quelque heureuse relation de l'homme à sa propre mesure, et prenant de cette particularité un charme et une humanité qui peuvent compenser à nos yeux l'aspect un peu récréatif de leur présentation. Ne dédaignons pas cet aspect dans les premiers développements de la psychanalyse; il n'exprime rien de moins, en effet, que la recréation du sens humain aux temps arides du scientisme.

Dédaignons-les d'autant moins que la psychanalyse n'a pas haussé le niveau en s'engageant dans les fausses voies d'une théorisation contraire à sa structure dialectique.

Elle ne donnera des fondements scientifiques à sa théorie comme à sa technique qu'en formalisant de façon adéquate ces dimensions essentielles de son expérience qui sont, avec la théorie historique du symbole: la logique intersubjective et la temporalité du sujet.

Известен перечень дополнительных дисциплин, которые Фрейд считал необходимым изучать на идеальном факультете психоанализа. Наряду с психиатрией и сексологией в него включены «история цивилизации, мифология, психология религий, история и литературная критика».

Совокупность этих обнимающих *курс* техники психоанализа предметов без труда вписывается в эпистемологический треугольник, который мы обрисовали и который определяет методику высшего образования по теории и технике психоанализа.

Со своей стороны мы добавили бы сюда еще риторику, диалектику в том техническом смысле, который закреплен за этим термином начиная с *Топики* Аристотеля, грамматику, и наконец, венец эстетики языка — поэтику, которая должна включать и остающуюся доныне в тени технику остроумия.

И пусть для многих названия этих предметов звучат несколько старомодно, мы все же сохранили бы их хотя бы в знак возврата к своим истокам.

Ибо на первых порах психоанализ, тесно связанный с открытием и изучением символов, сближался по структуре своей с тем, что в Средние века именовали «свободными искусствами». Лишенный, как и все они, подлинной формализации, он постепенно превращался, подобно им, в корпус привилегированных проблем, каждая из которых поднималась благодаря тому или иному удачному соотнесению человека с его собственной мерой, в самом этом частном характере черпая прелесть и человечность, способные компенсировать в наших глазах тот несколько несерьезный облик, в котором эти проблемы нам преподносились. Не будем, однако, относиться к этому свойственному психоанализу на первых порах облику, свысока; ибо на деле за ним стоит серьезный труд по воссозданию человеческого смысла в скудные времена сциентизма.

Психоанализ этого раннего периода не заслуживает презрительного отношения еще и потому, что впоследствии он не поднялся на новый уровень, а пошел по ложному пути теоретизации, противоречащей его диалектической структуре.

Дать научное обоснование своей теории и практике психоанализ может лишь путем адекватной формализации существенных измерений своего опыта, к которым, наряду с исторической теорией символа, относятся интерсубъективная логика и темпоральность субъекта.

III. *Les résonances de l'interprétation et le temps du sujet dans la technique psychanalytique*

Entre l'homme et l'amour.
Il y a la femme.
Entre l'homme et la femme,
Il y a un monde.
Entre l'homme et le monde,
Il y a un mur.

(Antoine Tudal, in *Paris en l'an 2000.*)

Nam Sibillam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent: Σιβύλλα τι θέλεις *respondebat illa:* ἀποθανεῖν θέλω

(Satyricon, XLVIII.)

Ramener l'expérience psychanalytique à la parole et au langage comme à ses fondements, intéresse sa technique. Si elle ne s'insère pas dans l'ineffable, on découvre le glissement qui s'y est opéré, toujours à sens unique pour éloigner l'interprétation de son principe. On est dès lors fondé à soupçonner que cette déviation de la pratique motive les nouveaux buts à quoi s'ouvre la théorie.

A y regarder de plus près, les problèmes de l'interprétation symbolique ont commencé par intimider notre petit monde avant d'y devenir embarrassants. Les succès obtenus par Freud y étonnent maintenant par le sans-gêne de l'endoctrination dont ils paraissent procéder, et l'étalage qui s'en remarque dans les cas de Dora, de l'homme aux rats et de l'homme aux loups, ne va pas pour nous sans scandale. Il est vrai que nos habiles ne reculent pas à mettre en doute que ce fût là une bonne technique.

Cette désaffection relève en vérité, dans le mouvement psychanalytique, d'une confusion des langues dont, dans un propos familier d'une époque récente, la personnalité la plus représentative de son actuelle hiérarchie ne faisait pas mystère avec nous.

III. РЕЗОНАНСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ И ВРЕМЯ СУБЪЕКТА В ТЕХНИКЕ ПСИХОАНАЛИЗА

Между мужчиной и любовью
Женщина.
Между мужчиной и женщиной
Мир.
Между мужчиной и миром
Стена.

(Антуан Тюдаль, Париж в 2000 году)

Nam Sibyllam quidem Cumis ego ipse oculis meis vidi in ampulla pendere, et cum illi pueri dicerent: Σιβύλλα τι θέλεις, *respondebat illa:* αποθανειν θέλω

(Satyricon, XLVIII.) *

Возвращение психоаналитического опыта к речи и языку как своей основе сказывается на его технике. Когда техника эта не погружается в область невыразимого, становится заметен происшедший в ней односторонний сдвиг в направлении все большего отрыва интерпретации от своего исходного принципа. Это дает все основания подозревать, что отклонения в аналитической практике мотивируют постановку новых целей, которым охотно идет на службу теория.

Внимательный взгляд легко обнаружит, что проблемы символической интерпретации с самого начала внушали нашему маленькому мирку робость, переросшую затем в недоумение. Успехи, достигнутые в этой области Фрейдом, поражают нас теперь бесцеремонностью в навязывании своей точки зрения, которой он, похоже, этими успехами и обязан; а демонстративность, с которой это проявляется в случаях Доры, Человека с Крысами и Человека с Волками, кажется нам в чем-то скандальной. Не случайно ведь умники наши уже не стесняются ставить приемлимость подобной техники под сомнение.

Корни этого разочарования лежат в поразившем психоаналитическое движение смешении языков, о котором не так давно откровенно говорила мне в частной беседе наиболее видная в его нынешней иерархии личность.

Il est assez remarquable que cette confusion s'accroisse avec la prétention où chacun se croit délégué de découvrir dans notre expérience les conditions d'une objectivation achevée, et avec la ferveur qui semble accueillir ces essais théoriques à mesure même qu'ils s'avèrent plus déréels.

Il est certain que les principes, tout bien fondés qu'ils soient, de l'analyse des résistances, ont été dans la pratique l'occasion d'une méconnaissance toujours plus grande du sujet, faute d'être compris dans leur relation à l'intersubjectivité de la parole.

A suivre, en effet, le procès des sept premières séances qui nous sont intégralement rapportées du cas de l'homme aux rats, il paraît peu probable que Freud n'ait pas reconnu les résistances en leur lieu, soit là même où nos modernes techniciens nous font leçon qu'il en ait laissé passer l'occurence, puisque c'est son texte même qui leur permet de les pointer, — manifestant une fois de plus cette exhaustion du sujet qui, dans les textes freudiens, nous émerveille sans qu'aucune interprétation en ait encore épuisé les ressources.

Nous voulons dire qu'il ne s'est pas seulement laissé prendre à encourager son sujet à passer outre à ses premières réticences, mais qu'il a parfaitement compris la portée séductrice de ce jeu dans l'imaginaire. Il suffit pour s'en convaincre de se reporter à la description qu'il nous donne de l'expression de son patient pendant le pénible récit du supplice représenté qui donne thème à son obsession, celui du rat forcé dans l'anus du supplicié: «Son visage, nous dit-il, reflétait l'horreur d'une jouissance ignorée.» L'effet actuel de la répétition de ce récit ne lui échappe pas ni dès lors l'identification du psychanalyste au «capitaine cruel» qui a fait entrer de force ce récit dans la mémoire du sujet, et non plus donc la portée des éclaircissements théoriques dont le sujet requiert le gage pour poursuivre son discours.

Loin pourtant d'interpréter ici la résistance, Freud nous étonne en accédant à sa requête, et si loin qu'il paraît entrer dans le jeu du sujet.

Mais le caractère extrêmement approximatif, au point de nous paraître vulgaire, des explications dont il le gratifie, nous instruit suffisamment: il ne s'agit point tant ici de doctrine, ni même d'endoctri

Следует отметить, что в условиях, когда всякий аналитик мнит себя избранником, призванным открыть в нашем опыте условия окончательной объективации, а энтузиазм, с которым встречают подобные теоретические работы, разгорается тем жарче, чем меньше отношения они имеют к реальности, смешение это лишь усугубляется.

Совершенно ясно, что принципы анализа сопротивления, сколько бы хорошо ни были они обоснованы, привели на практике ко все большему игнорированию субъекта, поскольку непонята осталась их связь с интерсубъективностью речи.

Если мы проследим по порядку семь первых сеансов Человека с Крысами, полный отчет о которых у нас имеется, покажется маловероятным, чтобы Фрейд действительно не распознал возникновения сопротивлений в тех местах, где, как нам теперь внушают нынешние практики, он якобы упустил их из виду. Ведь в конце концов именно текст Фрейда и дал им возможность указать на них, еще раз продемонстрировав то исчерпание субъекта, которое так восхищает нас в его работах, чьи богатства и по сей день не истощены, тем не менее, ни одним толкованием.

Мы хотим сказать, что Фрейд не только не поддался искушению побудить субъекта преодолеть себя и рассказать то, о чем поначалу умалчивал — он прекрасно понял, что эта игра в воображаемом направлена на соблазн. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к описанию выражения лица пациента во время болезненного рассказа о представленной им пытке, ставшей темой его помешательства: о крысе, которую заставляют лезть в задний проход жертвы. «В его лице, — читаем мы, — отражался кошмар безотчетного наслаждения». От Фрейда не укрываются ни действие, которое повторение этой истории оказывает на субъекта в момент рассказа, ни идентификация психоаналитика с запечатлевшим этот рассказ в памяти субъекта «жестоким капитаном», ни подлинное значение теоретических разъяснений, которых требует субъект в залог продолжения своей речи.

Но вместо того чтобы дать в этот момент сопротивлению субъекта истолкование, Фрейд, к великому нашему изумлению, идет навстречу его требованию, и идет так далеко, что создается впечатление, будто он принял действительно правила его игры.

Однако в высшей степени приблизительный, граничащий с вульгаризацией, характер объяснений, которых он пациента удостаивает, достаточно красноречив: речь идет не столько о доктрине

nation, que d'un don symbolique de la parole, gros d'un pacte secret, dans le contexte de la participation imaginaire qui l'inclut, et dont la portée se révélera plus tard à l'equivalence symbolique que le sujet institue dans sa pensée, des rats et des florins dont il rétribue l'analyste.

Nous voyons donc que Freud, loin de méconnaître la résistance, en use comme d'une disposition propice à la mise en branle des résonances de la parole, et il se conforme, autant qu'il se peut, à la définition première qu'il a donnée de la résistance, en s'en servant pour impliquer le sujet dans son message. Aussi bien rompra-t-il brusquement les chiens, dès qu'il verra qu'à être ménagée, la résistance tourne à maintenir le dialogue au niveau d'une conversation où le sujet dès lors perpétuerait sa séduction avec sa dérobade.

Mais nous apprenons que l'analyse consiste à jouer sur les multiples portées de la partition que la parole constitue dans les registres du langage: dont relève la surdétermination qui n'a de sens que dans cet ordre.

Et nous tenons du même coup le ressort du succès de Freud. Pour que le message de l'analyste réponde à l'interrogation profonde du sujet, il faut en effet que le sujet l'entende comme la réponse qui lui est particulière, et le privilège qu'avaient les patients de Freud d'en recevoir la bonne parole de la bouche même de celui qui en était l'annonciateur, satisfaisait en eux cette exigence.

Notons au passage qu'ici le sujet en avait eu un avant-goût à entrouvrir la *Psychopathologie de la vie quotidienne,* ouvrage alors dans la fraîcheur de sa parution.

Ce n'est pas dire que ce livre soit beaucoup plus connu maintenant même des analystes, mais la vulgarisation des notions freudiennes dans la conscience commune, leur rentrée dans ce que nous appelons le mur du langage, amortirait l'effet de notre parole, si nous lui donnions le style des propos tenus par Freud à l'homme aux rats.

Mais il n'est pas question ici de l'imiter. Pour retrouver l'effet de la parole de Freud, ce n'est pas à ses termes que nous recourrons, mais aux principes qui la gouvernent.

или ее внушении, сколько о символическом, чреватом секретным сговором, даре речи в контексте включающего этот дар воображаемого соучастия. О даре, все значение которого откроется лишь позже — когда субъект мысленно установит символическую эквивалентность между крысами и теми флоринами, которыми он оплачивает труд аналитика.

Итак, мы видим, что Фрейд, отнюдь не игнорируя сопротивление, использует его как благоприятную возможность для возбуждения резонансов речи. При этом он следует, насколько это возможно, своему первоначальному определению сопротивления, используя его таким образом, чтобы субъект сказался в своем сообщении сам. Но стоит Фрейду заметить, что его щадящее обращение с сопротивлением оборачивается поддержанием диалога на уровне беседы, в которой субъект продолжает, сохраняя свою уклончивость, его соблазнять, как он немедленно разговор обрывает.

Мы видим теперь, что искусство анализа состоит в умении играть на многообразии возможных прочтений партитуры, которая записывается речью в регистрах языка; отсюда и та сверхдетерминация, которая имеет смысл лишь внутри этой упорядоченной структуры.

Одновременно мы начинаем понимать причины успеха Фрейда. Чтобы сообщение аналитика отвечало на глубинное вопрошание субъекта, нужно, чтобы субъект расслышал в нем лично ему адресованный ответ; привилегия пациентов Фрейда, которые получали «благую весть» из уст того, кто был ее провозвестником, как раз и удовлетворяла этому требованию.

Заметим по ходу дела, что в случае Человека с Крысами субъект предвосхитил это удовлетворение, заглянув предварительно в вышедшую незадолго до этого *Психопатологию обыденной жизни*.

Я не хочу сказать, что в наши дни книга эта, даже аналитикам, известна гораздо лучше, но вульгаризация выработанных Фрейдом понятий в обыденном сознании, вновь замуровавшем их в то, что мы называем стеной языка, сделала бы нашу речь куда менее действенной, попытайся мы придать ей стиль, которым пользовался Фрейд, обращаясь к Человеку с Крысами.

Подражать ему, однако, дело безнадежное. Если мы хотим, чтобы речь наша вернула себе действенность речи Фрейда, то нужно обратиться не к терминам, а к лежащим в их основе принципам.

Ces principes ne sont rien d'autre que la dialectique de la conscience de soi, telle qu'elle se réalise de Socrate à Hegel, à partir de la supposition ironique que tout ce qui est rationnel est réel pour se précipiter dans le jugement scientifique que tout ce qui est réel est rationnel. Mais la découverte freudienne a été de démontrer que ce procès vérifiant n'atteint authentiquement le sujet qu'à le décentrer de la conscience de soi, dans l'axe de laquelle la maintenait la reconstruction hégélienne de la phénoménologie de l'esprit: c'est dire qu'elle rend encore plus caduque toute recherche de «prise de conscience» qui au-delà de son phénomène psychologique, ne s'inscrirait pas dans la conjoncture du moment particulier qui seul donne corps à l'universel et faute de quoi il se dissipe en généralité.

Ces remarques définissent les limites dans lesquelles il est impossible à notre technique de méconnaître les moments structurants de la phénoménologie hégélienne: au premier chef la dialectique du Maître et de l'Esclave, ou celle de la belle âme et de la loi du cœur, et généralement tout ce qui nous permet de comprendre comment la constitution de l'objet se subordonne à la réalisation du sujet.

Mais s'il restait quelque chose de prophétique dans l'exigence, où se mesure le génie de Hegel, de l'identité foncière du particulier à l'universel, c'est bien la psychanalyse qui lui apporte son paradigme en livrant la structure où cette identité se réalise comme disjoignante du sujet et sans en appeler à demain.

Disons seulement que c'est là ce qui objecte pour nous à toute référence à la totalité dans l'individu, puisque le sujet y introduit la division, aussi bien que dans le collectif qui en est l'équivalent. La psychanalyse est proprement ce qui renvoie l'un et l'autre à leur position de mirage.

Ceci semblerait ne plus pouvoir être oublié, si précisément ce n'était l'enseignement de la psychanalyse que ce soit oubliable, — dont il se trouve, par un retour plus légitime qu'on ne croit, que la confirmation nous vient des psychanalystes eux-même, de ce que leurs «nouvelles tendances» représentent cet oubli.

Que si Hegel vient d'autre part fort à point pour donner un sens qui ne soit pas de stupeur à notre dite neutralité, ce n'est pas que nous n'ayons rien à prendre de l'élasticité de la maïeutique de Socrate, voire du procédé fascinant de la technique où Platon nous la présente,

Принципы эти суть не что иное, как диалектика самосознания, которая, идя от Сократа к Гегелю, от ироничного предположения реальности всего рационального устремляется к научному суждению, гласящему, что все реальное рационально. Открытие Фрейда показало, однако, что означенный процесс верификации не может подлинно захватить субъекта, не сместив его по отношению к центру самосознания, по оси которого располагала его гегелевская реконструкция феноменологии духа; другими словами, открытие это делает еще более сомнительными всякие поиски «осознания», которое выходило бы за рамки психологического феномена и не вписывалось бы в картину обстоятельств конкретного момента, который, собственно, и является плотью универсального, и без которого это последнее неминуемо растворилось бы во всеобщем.

Эти замечания определяют границы, внутри которых наша техника не может обойтись без признания структурных моментов гегелевской феноменологии: в первую очередь диалектики господина и раба, диалектики «прекрасной души» и «закона сердца», и вообще всего того, что позволяет нам понять, каким образом конституирование объекта подчинено реализации субъекта.

Но если в достойном гения Гегеля требовании глубинной идентичности частного и универсального оставалось нечто пророческое, то психоанализ предоставил ему готовую парадигму, открыв структуру, где идентичность эта реализуется как отъединяющаяся от субъекта, и без всякой аппеляции к завтрашнему дню.

Отметим лишь, что именно это и представляется нам главным возражением против любых ссылок на целостность индивида; ведь субъект вводит разделение как в индивидуум, так и в коллектив, являющийся эквивалентом индивидуума. Психоанализ и есть то, что обнаруживает призрачную природу их обоих.

Казалось бы, забыть об этом уже нельзя, но психоанализ-то как раз и учит нас тому, что это забывается — подтверждение чего, и даже вполне закономерное, дают нам сами психоаналитики, чьими «новыми тенденциями» это забвение и представлено.

И если, со своей стороны, Гегель пришелся весьма кстати, чтобы дать нашей пресловутой нейтральности смысл, который не обличал бы в ней свидетельство умственного паралича, это вовсе не значит, что нам нечего позаимствовать от гибкости сократической майевтики и той виртуозной техники, с которой Платон ее нам преподносит — хотя бы для того, чтобы почувствовать в Со-

— ne serait-ce qu'à éprouver en Socrate et son désir, l'énigme intacte du psychanalyste, et à situer par rapport à la scopie platonicienne notre rapport à la vérité: dans ce cas d'une façon qui respecte la distance qu'il y a de la réminiscence que Platon est amené à supposer à tout avènement de l'idée, à l'exhaustion de l'être qui se consomme dans le répétition de Kierkegaard [29].

Mais il est aussi une différence historique qu'il n'est pas vain de mesurer de l'interlocuteur de Socrate au nôtre. Quand Socrate prend appui sur une raison artisane qu'il peut extraire aussi bien du discours de l'esclave, c'est pour faire accéder d'authentiques maîtres à la nécessité d'un ordre qui fasse justice de leur puissance et vérité des maîtres-mots de la cité. Mais nous avons affaire à des esclaves qui se croient être des maîtres et qui trouvent dans un langage de misson universelle le soutien de leur servitude avec les liens de son ambiguïté. Si bien qu'on pourrait dire avec humour que notre but est de restituer en eux la liberté souveraine dont fait preuve Humpty Dumpty quand il rappelle à Alice qu'après tout il est le maître du signifiant, s'il ne l'est pas du signifié où son être a pris sa forme.

Nous retrouvons donc toujours notre double référence à la parole et au langage. Pour libérer la parole du sujet, nous l'introduisons au langage de son désir, c'est-à-dire au *langage premier* dans lequel, au-delà de ce qu'il nous dit de lui, déjà il nous parle à son insu, et dans les symboles du symptôme tout d'abord.

C'est bien d'un langage qu'il s'agit, en effet, dans le symbolisme mis au jour dans l'analyse. Ce langage, répondant au vœu ludique qu'on peut trouver dans un aphorisme de Lichtenberg, a le caractère universel d'une langue qui se ferait entendre dans toutes les autres langues, mais en même temps, pour être le langage qui saisit le désir au point même où il s'humanise en se faisant reconnaître, il est absolument particulier au sujet.

Langage premier, disons-nous aussi, en quoi nous ne voulons pas dire langue primitive, puisque Freud, qu'on peut comparer à Champollion pour le mérite d'en avoir fait la totale découverte, l'a déchiffré tout entier dans les rêves de nos contemporains. Aussi bien le champ essentiel en est-il défini avec quelque autorité par l'un des préparateurs associés le plus tôt à ce travail, et l'un des rares qui y ait apporté du neuf, j'ai nommé Ernest Jones, le dernier survivant de ceux

крате и его желании еще нетронутую тайну психоаналитика и сориентировать по отношению к платоновской «скопии» наше собственное отношение к истине, позаботившись при этом сохранить дистанцию между припоминанием, которое Платон принужден был предпослать всякому пришествию идеи, и исчерпанием бытия, доведенном до конца в киркегоровском «повторении» [29].

Но между собеседником Сократа и нашим есть историческое различие, которое не лишним будет уточнить. Опираясь на созидательный разум, столь умело извлекаемый им из дискурса раба, Сократ обращается к подлинным господам, которых и стремится убедить в необходимости порядка, способного обосновать их могущество и истину господствующих в городе-государстве слов. Мы же имеем дело с рабами, которые принимают себя за господ и в универсальном миссионерском языке находят поддержку своему рабскому состоянию, закрепляя его узами присущей этому языку двусмысленности. В порядке юмора можно было бы даже добавить, что цель наша — восстановить в них ту суверенную свободу, которую обнаруживает Шалтай-Болтай, напоминая Алисе, что в конечном счете именно он является господином означающего, хотя на означаемое, в котором получило оформление его бытие, господство это и не распространяется.

Итак, мы все время возвращаемся к нашей двойной ориентации: на речь и язык. Чтобы освободить речь субъекта, мы вводим его в язык его желания, т.е. в *первичный язык*, на котором, помимо всего того, что он нам о себе рассказывает, он говорит нам что-то уже безотчетно, и говорит, в первую очередь, символами симптома.

Этот обнаруженный анализом символизм представляет собой именно язык. Язык этот, воплощающий игривое пожелание одного из афоризмов Лихтенберга, носит универсальный характер языковой системы, доступной пониманию в любой другой такой же системе. В то же время, будучи языком, запечатляющим желание в момент, когда оно, добиваясь признания, только-только обретает человеческие черты, он является абсолютно частным языком данного субъекта.

Итак, я говорю «*первичный язык*», вовсе не имея при этом в виду «первобытный язык», поскольку Фрейд, чья заслуга как первооткрывателя в этой области, позволяет сравнить его с Шампольоном, целиком расшифровал этот язык по снам своих современников. Кроме того, поле этого языка авторитетно определено в

à qui furent donnés les sept anneaux du maître et qui atteste par sa présence aux postes d'honneur d'une association internationale qu'ils ne sont pas seulement réservés aux porteurs de reliques.

Dans un article fondamental sur le symbolisme [30], le Dr Jones, vers la page 15, fait cette remarque que, bien qu'il y ait des milliers de symboles au sens où l'entend l'analyse, tous se rapportent au corps propre, aux relations de parenté, à la naissance, à la vie et à la mort.

Cette vérité, ici reconnue de fait, nous permet de comprendre que, bien que le symbole psychanalytiquement parlant soit refoulé dans l'inconscient, il ne porte en lui-même nul indice de régression, voire d'immaturation. Il suffit donc, pour qu'il porte ses effets dans le sujet, qu'il se fasse entendre, car ces effets s'opèrent à son insu, comme nous l'admettons dans notre expérience quotidienne, en expliquant maintes réactions des sujets normaux autant que névrosés, par leur réponse au sens symbolique d'un acte, d'une relation ou d'un objet.

Nul doute donc que l'analyste ne puisse jouer du pouvoir du symbole en l'évoquant d'une façon calculée dans les résonances sémantiques de ses propos.

Ce serait la voie d'un retour à l'usage des effets symboliques, dans une technique renouvelée de l'interprétation.

Nous y pourrions prendre référence de ce que la tradition hindoue enseigne du *dhvani* [31], en ce qu'elle y distingue cette propriété de la parole de faire entendre ce qu'elle ne dit pas. C'est ainsi qu'elle l'illustre d'une historiette dont la naïveté, qui paraît de règle en ces exemples, montre assez d'humour pour nous induire à pénétrer la vérité qu'elle recèle.

Une jeune fille, dit-on, attend son amant sur le bord d'une rivière, quand elle voit un brahme y engager ses pas. Elle va à lui et s'écrie du ton du plus aimable accueil: «Quel bonheur aujourd'hui! Le chien qui sur cette rive vous effrayait de ses aboiements n'y sera plus, car il vient d'être dévoré par un lion qui fréqente les alentours...»

основных чертах одним из сотрудников Фрейда, с самого начала принимавшим участие в этой работе — одним из немногих, кто внес в нее нечто новое. Я говорю о докторе Эрнсте Джонсе, последнем оставшимся в живых из тех, кто получил семь колец мастера, и чье присутствие на почетных местах в некоей международной ассоциации доказывает, что достались они не простым хранителям реликвий.

В своей фундаментальной статье о символизме [30] доктор Джонс на стр. 15 замечает, что несмотря на то, что символов — в том смысле, который термину этому придает анализ, — существует тысячи, все они относятся непосредственно к собственному телу, к отношениям родства, к рождению, к жизни, и к смерти.

Истина эта, признаваемая автором статьи безоговорочно, позволяет понять, что хотя символ, говоря психоаналитическим языком, и вытеснен в бессознательное, он не несет в себе ни малейших признаков регрессии или незрелости. Поэтому чтобы стать в субъекте действенным, ему достаточно быть услышанным, ибо действие его протекает в субъекте безотчетно, что мы и признаем в повседневной практике, объясняя многие реакции субъектов, — как нормальных, так и невротиков — их откликом на символический смысл действия, отношения, или объекта.

Следовательно, нет никакого сомнения,что аналитик может пользоваться властью символа, точно рассчитанным образом вводя его в семантические резонансы своих замечаний.

Это ознаменовало бы возврат к использованию символических эффектов в обновленной технике интерпретации.

В подтверждение мы хотели бы сослаться на традиционное индийское учение о *«дхвани»* [31], которое обращает внимание на свойство речи сообщать то, что в ней не высказано. Свойство это иллюстрируется следующей басенкой, наивность которой, для таких историй-примеров вполне обычная, не лишена юмора, привлеченные которым, мы находим и скрытую в ней истину.

Некая юная девица — гласит эта история — сидит на берегу реки, поджидая своего возлюбленного, и вдруг видит, что в ее сторону направляется брахман. Она тут же встает, идет ему навстречу и самым радушным тоном говорит: «Как вам сегодня повезло! Собаки, чей лай в этом месте вам раньше так досаждал, здесь больше нет: ее только что сожрал рыскающий в округе лев».

L'absence du lion peut donc avoir autant d'effets que le bond qu'à être présent, il ne fait qu'une fois, au dire du proverbe apprécié de Freud.

Le caractère *premier* des symboles les rapproche, en effet, de ces nombres dont tous les autres sont composés, et s'ils sont donc, sous-jacents à tous les sémantèmes de la langue, nous pourrons par une recherche discrète de leurs interférences, au fil d'une métaphore dont le déplacement symbolique neutralisera les sens seconds des termes qu'elle associe, restituer à la parole sa pleine valeur d'évocation.

Cette technique exigerait pour s'enseigner comme pour s'apprendre une assimilation profonde des ressources d'une langue, et spécialement de celles qui sont réalisées concrètement dans ses textes poétiques. On sait que c'était le cas de Freud quant aux lettres allemandes, y étant inclus le théâtre de Shakespeare par la vertu d'une traduction sans égale. Toute son œuvre en témoigne, en même temps que du recours qu'il y trouve sans cesse, et non moins dans sa technique que dans sa découverte. Sans préjudice de l'appui d'une connaissance classique des Anciens, d'une initiation moderne au folklore, et d'une participation intéressée aux conquêtes de l'humanisme contemporain dans le domaine ethnographique.

On pourrait demander au technicien de l'analyse de ne pas tenir pour vain tout essai de le suivre dans cette voie.

Mais il y a un courant à remonter. On peut le mesurer à l'attention condescendante qu'on porte, comme à une nouveauté, au *wording*; la morphologie anglaise donne ici un support assez subtil à une notion encore difficile à définir, pour qu'on en fasse cas.

Ce qu'elle recouvre n'est pourtant guère encourageant quand un auteur[32] s'émerveille d'avoir obtenu un succès bien différent dans l'interprétation d'une seule et même résistance par l'emploi «sans préméditation consciente», nous souligne-t-il, du terme de *need for love* au lieu et place de celui de *demand for love* qu'il avait d'abord, sans y voir plus loin (c'est lui qui le précise), avancé. Si l'anecdote doit confirmer cette référence de l'interprétation à l'*ego psychology* qui est au titre de l'article, c'est semble-t-il plutôt à l'*ego psychology*

Отсутствие льва может, таким образом, иметь те же точно последствия, что и его прыжок, который, согласно весьма ценимой Фрейдом пословице, он дважды не делает.

«Первичный» характер символов сближает их на самом деле с теми простыми числами, из которых составлены все остальные; и если символы эти действительно лежат в основе всех семантем языка, то осторожно исследовав их взаимоналожения и воспользовавшись путеводной нитью метафоры, символическое смещение которой нейтрализует вторичный смысл сопряженных ею терминов, мы сможем полностью восстановить в речи ее способность вызывать представления.

Для своего преподавания и изучения эта техника требует глубокого усвоения ресурсов языка, в особенности тех, которые получили конкретную реализацию в поэтических текстах. Хорошо известно, что Фрейд вполне отвечал этому требованию в отношении немецкой словесности, к которой, ввиду несравненного качества перевода, следует добавить и драматургию Шекспира. Все наследие Фрейда свидетельствует об обширных познаниях его в этой области, к которой он постоянно обращался, как в технике анализа, так и в работе над своими открытиями. Сюда надо добавить основательное знание классических авторов, знакомство с современными исследованиями в области фольклора и заинтересованное участие в завоеваниях гуманитарных наук в области этнографии.

Каждому из практикующих аналитиков не худо было бы по мере сил ему в этом следовать.

Но мы идем против течения. Сопротивление его дает себя знать по тому снисходительному вниманию, с которым, как некое новшество, встречают ныне *wording*; английская морфология придает этому понятию, пока нелегко поддающемуся определению, выражение достаточно тонкое, чтобы им не пренебречь.

Однако то, что скрывается за этим понятием, не слишком вдохновляет, когда некий автор[32] радостно удивляется, что получил совершенно иной результат при интерпретации одного и того же сопротивления, употребив «без сознательного умысла», как он подчеркивает, выражение *need for love* вместо выражения *demand for love*, которым он, по его собственным словам, «не задумываясь», пользовался до этого. Если случай этот призван подтвердить отсылку интерпретации к *ego psychology*, заявленную в заголовке статьи, то речь, видимо, идет об *ego psychology* самого

de l'analyste, en tant qu'elle s'accommode d'un si modique usage de l'anglais qu'il peut pousser sa pratique aux limites du bafouillage[33].

Car *need* et *demand* pour le sujet ont un sens diamétralement opposé, et tenir que leur emploi puisse même un instant être confondu revient à méconnaître radicalement l'*intimation* de la parole.

Car dans sa fonction symbolisante, elle ne va à rien de moins qu'à transformer le sujet à qui elle s'adresse par le lien qu'elle établit avec celui qui l'émet, soit: d'introduire un effet de signifiant.

C'est pourquoi il nous faut revenir, une fois encore, sur la structure de la communication dans le langage et dissiper définitivement le malentendu du langage-signe, source en ce domaine des confusions du discours comme des malfaçons de la parole.

Si la communication du langage est en effet conçue comme un signal par quoi l'émetteur informe le récepteur de quelque chose par le moyen d'un certain code, il n'y a aucune raison pour que nous n'accordions pas autant de créance et plus encore à tout autre signe quand le «quelque chose» dont il s'agit est de l'individu: il y a même toute raison pour que nous donnions la préférence à tout mode d'expression qui se raproche du signe naturel.

C'est ainsi que le discrédit est venu chez nous sur la technique de la parole et qu'on nous voit en quête d'un geste, d'une grimace, d'une attitude, d'une mimique, d'un mouvement, d'un frémissement, que dis-je, d'un arrêt du mouvement habituel, car nous sommes fins et rien n'arrêtera plus dans ses foulées notre lancer de limiers.

Nous allons montrer l'insuffisance de la notion du langage-signe par la manifestation même qui l'illustre le mieux dans le règne animal, et dont il semble que, si elle n'y avait récemment fait l'objet d'une découverte authentique, il aurait fallu l'inventer à cette fin.

Chacun admet maintenant que l'abeille revenue de son butinage à la ruche, transmet à ses compagnes par deux sortes de danses l'indication de l'existence d'un butin proche ou bien lointain. La seconde est la plus remarquable, car le plan où elle décrit la courbe en 8 qui lui a fait donner le nom de *wagging dance* et la fréquence des trajets que l'abeille y accomplit dans un temps donné, désigne exactement la direction déterminée en fonction de l'inclinaison solaire (où les abeil

аналитика, которая обходится в данном случае языковыми средствами столь скромными, что позволяет ему довести свою практику едва ли не до косноязычия [33].

Ибо слова *need* и *demand* имеют для субъекта смысл диаметрально противоположный, и полагать, будто их можно где-то употреблять неразборчиво, значит решительно игнорировать *intimation*, в речи содержащийся.

Ведь то, к чему стремится речь в своей символизирующей функции — это трансформировать субъект, которому она адресуется, установив его связь с субъектом, от которого она исходит, т.е. создав эффект означающего.

Вот почему мы хотим еще раз вернуться к структуре языкового общения и навсегда покончить с понятием языка-знака, этим недоразумением, которое в данной области стало источником как взаимонепониманий в беседе, так и речевых изъянов.

Если языковую коммуникацию действительно рассматривать как сигнал, с помощью которого передающий посредством определенного кода информирует о чем-либо принимающего, у нас не остается повода отказывать в таком же и даже большем доверии любому другому знаку, лишь бы «что-либо», о чем идет речь, исходило от индивидуума; более того, у нас есть все основания отдавать предпочтение тем способам выражения, которые стоят ближе к естественным знакам.

В результате мы начали страдать недоверием к технике речи и занялись поисками жеста, гримасы, черт поведения, мимики, движения, содрогания — а то и странной просто заминки в движении: дело свое мы понимаем тонко и готовы пустить своих гончих по любому из этих следов.

Несостоятельность концепции «языка-знака» мы покажем на примере одного явления из животного царства, наилучшим образом ее иллюстрирующего — явления, которое, не будь оно недавно научно удостоверено, следовало бы специально с этой целью изобрести.

В настоящее время общепризнано, что возвратившись с медосбора в улей, пчела сообщает своим товаркам о близости или отдаленности добычи, исполняя один из двух определенных видов танца. Второй из них особенно замечателен, ибо плоскость в которой пчела описывает восьмерку (почему танец этот и назвали *wagging dance*), и частота этих фигур в единицу времени точно указывают, во-первых, направление на добычу по отношению к солнечно-

les peuvent se repérer par tous temps, grâce à leur sensibilité à la lumière polarisée) d'une part, et d'autre part la distance jusqu'à plusieurs kilomètres où se trouve le butin. Et les autres abeilles répondent à ce message en se dirigeant immédiatement vers le lieu ainsi désigné.

Une dizaine d'années d'observation patiente a suffi à Karl von Frisch pour décoder ce mode de message, car il s'agit bien d'un code, ou d'un système de signalisation que seul son caractère générique nous interdit de qualifier de conventionnel.

Est-ce pour autant un langage? Nous pouvons dire qu'il s'en distingue précisément par la corrélation fixe de ses signes à la réalité qu'ils signifient. Car dans un langage les signes prennent leur valeur de leur relation les uns aux autres, dans le partage lexical des sémantèmes autant que dans l'usage positionnel, voire flexionnel des morphèmes, contrastant avec la fixité du codage ici mis en jeu. Et la diversité des langues humaines prend, sous cet éclairage, sa pleine valeur.

En outre, si le message du mode ici décrit détermine l'action du *socius,* il n'est jamais retransmis par lui. Et ceci veut dire qu'il reste fixé à sa fonction de relais de l'action, dont aucun sujet ne le détache en tant que symbole de la communication elle-même[34].

La forme sous laquelle le langage s'exprime, définit par elle-même la subjectivité. Il dit: «Tu iras par ici, et quand tu verras ceci, tu prendras par là.» Autrement dit, il se réfère au discours de l'autre. Il est enveloppé comme tel dans la plus haute fonction de la parole, pour autant qu'elle engage son auteur en investissant son destinataire d'une réalité nouvelle, par exemple quand d'un: «Tu es ma femme», un sujet se scelle d'être l'homme du conjungo.

Telle est en effet la forme essentielle dont toute parole humaine dérive plutôt qu'elle n'y arrive.

D'où le paradoxe dont un de nos auditeurs les plus aigus a cru pouvoir nous opposer la remarque, lorsque nous avons commencé à faire connaître nos vues sur l'analyse en tant que dialectique, et qu'il a formulé ainsi: le langage humain constituerait donc une communication où l'émetteur reçoit du récepteur son propre message sous une forme inversée, formule que nous n'avons eu qu'à reprendre de la

му склонению (которое пчелы благодаря своей чувствительности к поляризованному свету легко определят в любую погоду) и, во-вторых, расстояние до нее в пределах нескольких километров. И на сообщение это другие пчелы немедленно реагируют, направляясь в указанное таким образом место.

Десяток лет терпеливых наблюдений понадобилось Карлу фон Фришу, чтобы расшифровать код этого сообщения — ведь речь идет именно о коде, т.е. о системе сигнализации, которую лишь родовой ее характер мешает рассматривать как произвольную.

Но становится ли он от этого языком? Нам представляется, что отличает его от языка как раз жесткая корреляция его знаков с той реальностью, которую они обозначают. Ведь знаки языка приобретают значение лишь по отношению друг к другу, в лексическом распределении семантем, равно как и в позиционном, даже флексионном, использовании морфем, что резко отличает их от задействованного в данном случае жестко фиксированного кода. В свете этого открытия можно по достоинству оценить разнообразие человеческих языков.

К тому же сообщение данного типа, определяя действия члена группы, никогда не передается им далее. Это значит, что оно остается привязанным к функции передачи действия, от которой ни один субъект действия не отделяет его в качестве символа коммуникации самой по себе [34].

Форма, в которой изъясняется язык, сама по себе служит определением субъективности. Он говорит: «Ты пойдешь сюда, а когда увидишь вот это, свернешь вон туда». Другими словами, он ссылается на дискурс другого. В этом качестве языка он облечен высшей функцией речи, поскольку, загружая адресата некой новой реальностью, речь обязывает и своего автора; так, например, говоря: «Ты моя жена», субъект связывает себя узами брачного союза в качестве супруга.

Такова по существу исходная форма человеческой речи, и любая наша речь не столько сближается с этой формой, сколько удаляется от нее.

Отсюда парадокс, который один из наиболее проницательных наших слушателей счел возможным сформулировать как возражение, когда мы приступили к изложению своих взглядов на анализ как процесс диалектический, и который звучал следующим образом: выходит, что человеческий язык создает ситуацию общения, в которой передающий получает от принимающего свое собствен-

bouche de l'objecteur pour y reconnaître la frappe de notre propre pensée, à savoir que la parole inclut toujours subjectivement sa réponse, que le «Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais trouvé» ne fait qu'homologuer cette vérité, et que c'est la raison pourquoi dans le refus paranoïaque de la reconnaissance, c'est sous la forme d'une verbalisation négative que l'inavouable sentiment vient à surgir dans l'«interprétation» persécutive.

Aussi bien quand vous vous applaudissez d'avoir rencontré quelqu'un qui parle le même langage que vous, ne voulez-vous pas dire que vous vous rencontréz avec lui dans le discours de tous, mais que vous lui êtes uni par une parole particulière.

On voit donc l'antinomie immanente aux relations de la parole et du langage. A mesure que le langage devient plus fonctionnel, il est rendu impropre à la parole, et à nous devenir trop particulier il perd sa fonction de langage.

On sait l'usage qui est fait dans les traditions primitives, des noms secrets où le sujet identifie sa personne ou ses dieux jusqu'à ce point que les révéler, c'est se perdre ou les trahir, et les confidences de nos sujets, sinon nos propres souvenirs, nous apprennent qu'il n'est pas rare que l'enfant retrouve spontanément la vertu de cet usage.

Finalement c'est à l'intersubjectivité du «nous» qu'il assume, que se mesure en un langage sa valeur de parole.

Par une antinomie inverse, on observe que plus l'office du langage se neutralise en se rapprochant de l'information, plus on lui impute de *redondances*. Cette notion de redondances a pris son départ de recherches d'autant plus précises qu'elles étaient plus intéressées, ayant reçu leur impulsion d'un problème d'économie portant sur les communications à longue distance et, notamment, sur la possibilité de faire voyager plusieurs conversations sur un seul fil téléphonique; on peut y constater qu'une part importante du médium phonétique est superflue pour que soit réalisée la communication effectivement cherchée.

ное сообщение в обращенной форме. Формулу эту нам оставалось лишь позаимствовать из уст возражавшего, поскольку в ней легко узнавался отпечаток нашей собственной мысли, заключавшейся в том, что речь всегда субъективно включает в себя ответ, что фраза «Ты не искал бы меня, если бы меня уже не нашел» эту истину лишь окончательно удостоверяет, и что именно поэтому в отказе параноика от признания то, в чем он не может сознаться, возникает, как носящее характер преследования «интерпретация», именно в форме негативной вербализации.

И когда вы радуетесь, встретив кого-нибудь, кто говорит на том же языке, что и вы, вы радуетесь не тому, что встретились с ним внутри общего дискурса, а тому, что связаны с ним какой-то особой, носящий частный характер.

Таким образом становится видна антиномия, внутренне присущая отношениям речи и языка. По мере того, как язык становится все более функциональным, он делается непригодным для речи; получив же характер слишком частный, он утрачивает свою языковую функцию.

Известно, что в традициях первобытных обществ использовались секретные имена, с которыми субъект идентифицировал свою личность или своих богов настолько тесно, что открыть имя значило погубить самого себя или предать их. Судя по признаниям субъектов анализа, да и по собственным воспоминаниям, дети нередко и сейчас спонтанно используют имя аналогичным образом.

В конечном счете именно степень усвоенной языком интерсубъективности, которая получает свое выражение в «мы», служит в нем мерой его ценности в качестве речи.

Рассматривая обратную сторону этой зависимости, отметим, что чем более служебные функции языка нейтрализуются, приближаясь к чисто информационным, тем более ему вменяется избыточность. Это понятие избыточности в языке возникло в результате исследований, залогом добросовестности которых являлась огромная в них заинтересованность: речь шла о проблеме экономной передачи информации на большие расстояния и, в частности, о возможности передачи нескольких переговоров по одному телефонному проводу; в результате было констатировано, что значительная часть фонетического материала для реализации фактически требуемой коммуникации избыточна.

Ceci est pour nous hautement instructif[35], car ce qui est redondance pour l'information, c'est précisément ce qui, dans la parole, fait office de résonance.

Car la fonction du langage n'y est pas d'informer, mais d'évoquer.

Ce que je cherche dans la parole, c'est la réponse de l'autre. Ce qui me constitue comme sujet, c'est ma question. Pour me faire reconnaître de l'autre, je ne profère ce qui fut qu'en vue de ce qui sera. Pour le trouver, je l'appelle d'un nom qu'il doit assumer ou refuser pour me répondre.

Je m'identifie dans le langage, mais seulement à m'y perdre comme un objet. Ce qui se réalise dans mon histoire, n'est pas le passé défini de ce qui fut puisqu'il n'est plus, ni même le parfait de ce qui a été dans ce que je suis, mais le futur antérieur de ce que j'aurai été pour ce que je suis en train de devenir.

Si maintenant je me place en face de l'autre pour l'interroger, nul appareil cybernétique, si riche que vous puissiez l'imaginer, ne peut faire une réaction de ce qui est la réponse. Sa définition comme second terme du circuit stimulus-réponse, n'est qu'une métaphore qui se soutient de la subjectivité imputée à l'animal pour l'élider ensuite dans le schéma physique où elle la réduit. C'est ce que nous avons appelé mettre le lapin dans le chapeau pour ensuite l'en faire sortir. Mais une réaction n'est pas une réponse.

Si je presse sur un bouton électrique et que la lumière se fasse, il n'y a de réponse que pour *mon* désir. Si pour obtenir le même résultat je dois essayer tout un système de relais dont je ne connais pas la position, il n'y a de question que pour mon attente, et il n'y en aura plus quand j'aurai obtenu du système une connaissance suffisante pour le manœuvrer à coup sûr.

Mais si j'appelle celui à qui je parle, par le nom quel qu'il soit que je lui donne, je lui intime la fonction subjective qu'il reprendra pour me répondre, même si c'est pour la répudier.

Dès lors, apparaît la fonction décisive de ma propre réponse et qui n'est pas seulement comme on le dit d'être reçue par le sujet comme approbation ou rejet de son discours, mais vraiment de le reconnaître

Для нас это в высшей степени поучительно [35], поскольку то самое, что в информации является избыточным, в речи выполняет функцию резонанса.

Ибо функция языка не информировать, а вызывать представления.

То, что я ищу в речи — это ответ другого. То, что конституирует меня как субъекта — это мой вопрос. Чтобы получить признание от другого, я говорю о том, что было, лишь ввиду того, что будет. Чтобы найти его, я называю его по имени, которое, отвечая мне, он должен либо принять, либо отвергнуть.

В языке я идентифицирую себя, но лишь для того, чтобы затеряться в нем как объект. В моей истории реализуется не прошедшее время, выражающее то, что было, ибо его уже нет, и даже не перфект, выражающий присутствие того, что было, в том, что я есть сейчас, а скорее предшествующее будущее: то, чем я буду в прошлом для того, чем я теперь становлюсь.

Если я встану сейчас перед лицом другого, чтобы обратиться к нему с вопросом, ни одна сколь угодно сложная кибернетическая система не сможет превратить то, что является ответом, в реакцию. Определение ответа в качестве второго звена цепи стимул-ответ представляет собой лишь метафору, которая поначалу приписывает животному субъективность, а затем сама же исключает ее, сводя к чисто физической схеме. Это, пользуясь нашим старым сравнением, все равно, что фокус с кроликом, которого достают из шляпы, куда предварительно посадили. Но реакция — это вовсе не ответ.

Если, при нажатии мною кнопки выключателя зажигается свет, то ответом это является исключительно постольку, поскольку налицо *мое* желание. Если для того же самого мне приходится опробовать целую систему реле, устройство которой мне неизвестно, вопрос существует лишь постольку, поскольку налицо мои ожидания: как только я разберусь в системе достаточно, чтобы свободно ей манипулировать, никакого вопроса просто не станет.

Но если, говоря с кем-то, я обращаюсь к нему по какому-то определенному имени, я вменяю ему тем самым субъективную функцию, которую, отвечая мне, он обязательно возьмет на себя — хотя бы для того, чтобы от нее отречься.

С этого момента проясняется решающая функция моего собственного ответа, состоящая не только, как утверждают, в том, чтобы быть воспринятым субъектом как одобрение или неприятие его

ou de l'abolir comme sujet. Telle est la *responsabilité* de l'analyste chaque fois qu'il intervient par la parole.

Aussi bien le problème des effets thérapeutiques de l'interprétation inexacte qu'a posé M.Edward Glover [36] dans un article remarquable, l'a-t-il mené à des conclusions où la question de l'exactitude passe au second plan. .C'est à savoire que non seulement toute intervention parlée est reçue par le sujet en fonction de sa structure, mais qu'elle y prend une fonction structurante en raison de sa forme, et que c'est précisément la portée des psychothérapies non analytiques, voire des plus communes «ordonnances» médicales, d'être des interventions qu'on peut qualifier de systèmes obsessionnels de suggestion, de suggestions hystériques d'ordre phobique, voire de soutiens persécutifs, chacune prenant son caractère de la sanction qu'elle donne à la méconnaissance par le sujet de sa propre réalité.

La parole en effet est un don de langage, et le langage n'est pas immatériel. Il est corps subtil, mais il est corps. Les mots sont pris dans toutes les images corporelles qui captivent le sujet; ils peuvent engrosser l'hystérique, s'identifier à l'objet du *penis-neid,* représenter le flot d'urine de l'ambition urétrale, ou l'excrément retenu de la jouissance avaricieuse.

Bien plus les mots peuvent eux-mêmes subir les lésions symboliques, accomplir les actes imaginaires dont le patient est le sujet. On se souvient de la *Wespe* (guêpe) castrée de son W initial pour devenir le S.P. des initiales de l'homme aux loups, au moment où il réalise la punition symbolique dont il a été l'objet de la part de Grouscha, la guêpe.

On se souvient aussi de l'S qui constitue le résidu de la formule hermétique où se sont condendsées les invocations conjuratoires de l'homme aux rats après que Freud eut extrait de son chiffre l'anagramme du nom de sa bien-aimée, et qui, conjoint à l'amen terminal de sa jaculation, inonde éternellement le nom de la dame de l'éjet symbolique de son désir impuissant.

De même, un article de Robert Fliess [37], inspiré des remarques inaugurales d'Abraham, nous démontre que le discours dans son ensemble peut devenir l'objet d'une érotisation suivant les déplacements de

дискурса, а в том, чтобы признать или упразднить в качестве субъекта его самого. Именно в этом и заключается *ответственность* аналитика в каждом случае его речевого вмешательства.

Поэтому проблема терапевтических эффектов неточной интерпретации, поставленная в замечательной статье Эдварда Гловера [36], привела к выводам, в которых вопрос точности отступает уже на второй план. Выводы эти заключаются в том, что всякое речевое вмешательство не только воспринимается субъектом в соответствии с его структурой, но и принимает в нем обусловленную своей формой структрообразующую функцию, так что неаналитические средства психотерапии, вплоть до обычных медицинских «рецептов», суть не что иное, как вмешательства, представляющие собой системы навязчивого внушения, истерические внушения типа фобии, или даже системы поддержки, построенные на мотивах преследования, причем характер каждой из них определяется тем, какую санкцию получает в том или ином случае непризнание субъектом его собственной реальности.

Речь является даром языка, а язык вовсе не есть нечто нематериальное. Это тонкое тело, но все же тело. Слова включены во все пленяющие субъекта телесные образы, они могут сделать истеричного субъекта «беременным», идентифицироваться с объектом *penis-neid'a*, представлять мочевую струю уретрального честолюбия, или удерживаемые экскременты жадного наслаждения.

Более того, слова могут сами претерпевать символические увечья и совершать воображаемые действия, субъектом которых является пациент. Так приходит на память *Wespe* (оса), которая путем кастрации-отсечения начального W превратилась в S.P.— инициалы Человека с Волками; превратилась в момент осознания им символического наказания, которому он подвергся со стороны Груши, осы.

Напрашивается также и пример с буквой S, представлявщей собой остаток герметической формулы, в которой сконденсировались заклинания Человека с Крысами после того, как Фрейд разгадал зашифрованную в ней анаграмму его возлюбленной, и которая, вкупе с заключительным аминь его возгласа, вечно орошает имя этой дамы символическим излиянием его бессильного желания.

Со своей стороны, статья Роберта Флиса [37], вдохновленная вступительными замечаниями Абрахама, показывает нам, что по мере смещений эрогенности в телесном образе, которые на какое-то

l'érogénéité dans l'image corporelle, momentanément déterminés par la relation analytique.

Le discours prend alors une fonction phallique-urétrale, érotique-anale, voire sadique-orale. Il est d'ailleurs remarquable que l'auteur en saisisse surtout l'effet dans les silences qui marquent l'inhibition de la satisfaction qu'en éprouve le sujet.

Ainsi la parole peut devenir objet imaginaire, voire réel, dans le sujet et, comme tel, ravaler sous plus d'un aspect la fonction du langage. Nous la mettrons alors dans la paranthèse de la résistance qu'elle manifeste.

Mais ce ne sera pas pour la mettre à l'index de la relation analytique, car celle-ci y perdrait jusqu'à sa raison d'être.

L'analyse ne peut avoir pour but que l'avènement d'une parole vraie et la réalisation par le sujet de son histoire dans sa relation à un futur.

Le maintien de cette dialectique s'oppose à toute orientation objectivante de l'analyse, et la mise en relief de cette nécessité est capitale pour pénétrer l'aberration des nouvelles tendances manifestées dans l'analyse.

C'est par un retour à Freud que nous illustrerons encore ici notre propos, et aussi bien par l'observation de l'homme aux rats puisque nous avons commencé de nous en servir.

Freud va jusqu'à en prendre à son aise avec l'exactitude des faits, quand il s'agit d'atteindre à la vérité du sujet. A un moment, il aperçoit le rôle déterminant qu'a joué la proposition de mariage apportée au sujet par sa mère à l'origine de la phase actuelle de sa névrose. Il en a eu d'ailleurs l'éclair, nous l'avons montré dans notre séminaire, en raison de son expérience personnelle. Néanmoins, il n'hésite pas à en interpréter au sujet l'effet, comme d'une interdiction portée par son père défunt contre sa liaison avec la dame de ses pensées.

Ceci n'est pas seulement matériellement inexact. Ce l'est aussi psychologiquement, car l'action castratrice du père, que Freud affirme ici avec une insistance qu'on pourrait croire systématique, n'a dans ce cas joué qu'un rôle de second plan. Mais l'aperception du rapport dialectique est si juste que l'interprétation de Freud portée à ce moment déclenche la levée décisive des symboles mortifères qui lient narcissiquement le sujet à la fois à son père mort et à la dame idéali-

время определяются аналитической связью, объектом эротизации может стать и весь дискурс в целом.

Дискурс выполняет в подобном случае фалло-уретральную, анально-эротическую, или даже садо-оральную функцию. Замечательно, что свидетельства этого явления автор обнаруживает главным образом в умолчаниях, знаменующих сдерживание того удовлетворения, которое субъект испытывает.

Таким образом, речь может стать в субъекте воображаемым, или даже реальным, объектом, и в качестве такового умалить языковую функцию в целом ряде ее аспектов. В этом случае мы обязаны заключить ее в скобки сопротивления, проявлением которого она в подобной ситуации выступает.

Но это не значит, что мы исключим ее из аналитической связи, ибо последняя утратила бы тогда всякий смысл.

Единственная цель, которую может ставить себе анализ, — это появление истинной речи и осознание субъектом своей истории в ее соотнесенности с неким будущим.

Следуя этой диалектике, мы категорически выступаем против любой объективирующей ориентации анализа; подчеркнуть это необходимо, чтобы указать на те заблуждения, которыми отмечены проявившиеся в анализе новые тенденции.

Для иллюстрации нашего положения мы еще раз вернемся к Фрейду и его наблюдениям над Человеком с Крысами, благо мы к этому примеру уже обращались.

Порой, когда речь идет о постижении истины субъекта, Фрейд позволяет себе фактические погрешности. Так, в один прекрасный момент он замечает, что определяющую роль в возникновении у субъекта текущей фазы невроза сыграла попытка сватовства со стороны матери, — на нашем семинаре мы показали, между прочим, что навел Фрейда на эту неожиданную мысль его собственный опыт. Тем не менее в разговоре с субъектом он не колеблется истолковать субъекту последствия этого предложения как результат запрета на связь с дамой его сердца со стороны покойного отца.

Неточность здесь не только чисто фактическая, но и психологическая, ибо кастрирующее сына деяние отца, утверждаемое Фрейдом с настойчивостью, в которой можно заподозрить систему, сыграло здесь роль второстепенную. Однако восприятие диалектического соотношения оказывается настолько точным, что приуроченная Фрейдом к данному моменту интерпретация упраздняет власть смертоносных символов, посредством которых субъект нар-

sée, leurs deux images se soutenant, dans une équivalence caractéristique de l'obsessionnel, l'une de l'agressivité fantasmatique qui la perpétue, l'autre du culte mortifiant qui la transforme en idole.

De même, est-ce reconnaissant la subjectivation forcée de la dette [38] obsessionnelle dont son patient joue la pression jusqu'au délire, dans le scénario, trop parfait à en exprimer les termes imaginaires pour que le sujet tente même de le réaliser, de la restitution vaine, que Freud arrive à son but: soit à lui faire retrouver dans l'histoire de l'indélicatesse de son père, de son mariage avec sa mère, de la fille «pauvre, mais jolie», de ses amours blessés, de la mémoire ingrate à l'ami salutaire, — avec la constellation fatidique, qui présida à sa naissance même, la béance impossible à combler de la dette symbolique dont sa névrose est le protêt.

Nulle trace ici d'un recours au spectre ignoble de je ne sais quelle «peur» originelle, ni même à un masochisme pourtant facile à agiter, moins encore à ce contre-forçage obsessionnel que certains propagent sous le nom d'analyse des défenses. Les résistances elles-mêmes, je l'ai montré ailleurs, sont utilisées aussi longtemps qu'on le peut dans le sens du progrès du discours. Et quand il faut y mettre un terme, c'est à leur céder qu'on y vient.

Car c'est ainsi que l'homme aux rats arrive à introduire dans sa subjectivité sa médiation véritable sous la forme transférentielle de la fille imaginaire qu'il donne à Freud pour en recevoir de lui l'alliance, et qui dans un rêve clef lui dévoile son vrai visage: celui de la mort qui le regarde de ses yeux de bitume.

Aussi bien si c'est avec ce pacte symbolique que sont tombées chez le sujet les ruses de sa servitude, la réalité ne lui aura pas fait défaut pour combler ces épousailles, et la note en guise d'épitaphe qu'en 1923 Freud dédie à ce jeune homme qui, dans le risque de la guerre, a trouvé «la fin de tant de jeunes gens de valeur sur lesquels on pouvait fonder tant d'espoirs», concluant le cas avec la rigueur du destin, l'élève à la beauté de la tragédie.

циссически связан одновременно с покойным отцом и с идеализируемой дамой, чьи образы, сохраняя характерную для обсессивного невроза эквивалентность, находили себе опору, один — в увековечивающей его фантазматической агрессивности, другой — в несущем смерть культе, который делает из него идола. Именно благодаря признанию вынужденной субъективации навязчивого долга [38], борьбу с которым пациент разыгрывает в граничащем с бредом сценарии тщетных попыток его уплаты — сценарии, в описании своих воображаемых условий слишком совершенном, чтобы субъект хотя бы попытался его осуществить — Фрейд и достигает своей цели, которая состоит в том, чтобы в истории неделикатности своего отца, его женитьбы на матери — «бедной, но милой» девушке, — неудачных романов и неблагодарности по отношению к другу, которому он обязан спасением, субъект мог вместе с этими определившими его рождение на свет созвездиями открыть для себя и ту зияющую бездну символического долга, вексель которого опротестовывается его неврозом.

Как видим, здесь и речи нет о том, чтобы прибегнуть к нечистому духу некоего изначального «страха», к столь легко поддающемуся всяческим манипуляциям мазохизму, или к тем навязчивого характера подспорьям, которые рекомендуются иными аналитиками под именем анализа защитных механизмов. Сами сопротивления — у меня был случай доказать это в другом месте — используются для продолжения дискурса как можно дольше. И чтобы положить дискурсу конец, достаточно поддаться им.

Именно так удается Человеку с Крысами ввести в свою субъективность свое истинное опосредование в трансференциальной форме воображаемой дочери, которую он дает Фрейду чтобы от него получить ее руку, и которая в ключевом для него сне открывает ему свое истинное лицо — лицо смерти, глядящей на него асфальтовыми глазами.

И когда с заключением этого символического договора субъектом отброшены были ухищрения его рабского состояния, реальность не замедлила скрепить этот брак: примечание 1923 года, посвященное Фрейдом в качестве эпитафии юноше, нашедшему на поле брани «конец, ожидавший стольких достойных молодых людей, на которых возлагалось столько надежд», завершает историю Человека с Крысами с неумолимостью судьбы, сообщая ей возвышенную красоту трагедии.

Pour savoir comment répondre au sujet dans l'analyse, la méthode est de reconnaître d'abord la place où est son *ego*, cet *ego* que Freud lui-même a défini comme *ego* formé d'un nucleus verbal, autrement dit de savoir par qui et pour qui le sujet pose *sa question*. Tant qu'on ne le saura pas, on risquera le contresens sur le désir qui y est à reconnaître et sur l'objet à qui s'adresse ce désir.

L'hystérique captive cet objet dans une intrigue raffinée et son *ego* est dans le tiers par le médium de qui le sujet jouit de cet objet où sa question s'incarne. L'obsessionnel entraîne dans la cage de son narcissisme les objets où sa question se répercute dans l'alibi multipulié de figures mortelles et, domptant leur haute voltige, en adresse l'hommage ambigu vers la loge où lui-même a sa place, celle du maître qui ne peut se voir.

Trahit sua quemque voluptas; l'un s'identifie au spectacle, et l'autre donne à voir.

Pour le premier sujet, vous avez à lui faire reconnaître où se situe son action, pour qui le terme d'*acting out* prend son sens littéral puisqu'il agit hors de lui-même. Pour l'autre, vous avez à vous faire reconnaître dans le spectateur, invisible de la scène, à qui l'unit la médiation de la mort.

C'est donc toujours dans le rapport du *moi* du sujet au *je* de son discours, qu'il vous faut comprendre le sens du discours pour désaliéner le sujet.

Mais vous ne sauriez y parvenir si vous vous en tenez à l'idée que le *moi* du sujet est identique à la présence qui vous parle.

Cette erreur est favorisée par la terminologie de la topique qui ne tente que trop la pensée objectivante, en lui permettant de glisser du moi défini comme le système perception-conscience, c'est-à-dire comme le système des objectivations du sujet, au moi conçu comme corrélatif d'une réalité absolue, et ainsi d'y retrouver, en un singulier retour du refoulé de la pensée psychologiste, la «fonction du réel» à quoi un Pierre Janet ordonne ses conceptions.

Чтобы знать, как следует отвечать субъекту в ходе анализа, нужно прежде всего определить место, где находится его *Эго* — то *Эго*, которое сам Фрейд определил как *Эго*, образованное словесным ядром; другими словами, аналитику необходимо узнать, через кого и для кого ставит субъект *свой вопрос*. Не зная этого, легко впасть в заблуждение как относительно желания, которое здесь должно быть распознано, так и относительно объекта, которому это желание адресовано.

Истеричный субъект уловляет этот объект в сети утонченной интриги, и его *Эго* находится в третьем лице, через посредство которого субъект наслаждается этим объектом, в котором его вопрос воплощается. Обсессивный субъект затаскивает в клетку своего нарциссизма объекты, отражающие его вопрос в нескончаемом алиби смертельных трюков, и, выступая в роли их дрессировщика, воздает их акробатическим искусством двусмысленную честь той ложе, где находится его собственное место — место господина, не способного увидеть самого себя.

Trahit sua quemque voluptas; один идентифицирует себя со зрелищем, а другой дает его.

Первому субъекту следует помочь узнать, где располагается его действие, по отношению к которому термин *acting out* приобретает свой буквальный смысл, ибо субъект действует здесь вне себя самого. Второму же вы должны помочь узнать вас в том невидимом со сцены зрителе, с которым соединяет его посредничество смерти.

Таким образом, чтобы преодолеть отчуждение субъекта, смысл его дискурса следует искать во взаимоотношениях *«собственного я»* субъекта и *«я»* его дискурса.

Но вам это не удастся, пока вы не откажетесь от мысли, что *«собственное я»* субъекта идентично тому присутствию, которое обращает к вам свою речь.

К подобной ошибке весьма располагает сама терминология данной топики, для объективирующей мысли более чем соблазнительная, ибо она позволяет от *«собственного я»* в смысле системы «восприятие-сознание», т.е. в смысле системы объективаций субъекта, незаметно перейти к *«собственному я»* в смысле коррелята абсолютной реальности и тем самым — удивительный пример возвращения вытесненного в психологистическом образе мысли! — вновь обнаружить в нему ту «функцию реальности», на которой строит свои концепции, например, Пьер Жане.

Un tel glissement ne s'est opéré que faute de reconnaître que dans l'œuvre de Freud la topique de l'*ego*, de l'*id* et du *superego* est subordonnée à la métapsychologie dont il promeut les termes à la même époque et sans laquelle elle perd son sens. Ainsi s'est-on engagé dans une orthopédie psychologique qui n'a pas fini de porter ses fruits.

Michaël Balint a analysé d'une façon tout à fait pénétrante les effets intriqués de la théorie et de la technique dans la genèse d'une nouvelle conception de l'analyse, et il ne trouve pas mieux pour en indiquer l'issue que le mot d'ordre qu'il emprunte à Rickman, de l'avènement d'une *Two-body psychology*.

On ne saurait mieux dire en effet. L'analyse devient la relation de deux corps entre lesquels s'établit une communication fantasmatique où l'analyste apprend au sujet à se saisir comme objet; la subjectivité n'y est admise que dans la paranthèse de l'illusion et la parole y est mise à l'index d'une recherche du vécu qui en devient le but suprême, mais le résultat dialectiquement nécessaire en apparaît dans le fait que la subjectivité du psychanalyste étant délivrée de tout frein, laisse le sujet livré à toutes les intimations de sa parole.

La topique intra-subjective une fois entifiée se réalise en effet dans la division du travail entre les sujets en présence. Et cet usage détourné de la formule de Freud que tout ce qui est de l'*id* doit devenir de l'*ego*, apparaît sous une forme démystifiée; le sujet transformé en un *cela* a à se conformer à un *ego* où l'analyste n'aura pas de peine à reconnaître son alié, puisque c'est de son propre *ego* qu'en vérité il s'agit.

C'est bien ce processus qui s'exprime dans mainte formulation théorique du *splitting* de l'*ego* dans l'analyse. La moitié de l'ego du sujet passe de l'autre côté du mur qui sépare l'analysé de l'analyste, puis la moitié de la moitié, et ainsi de suite, en une procession asymptotique qui ne parviendra pourtant pas à annuler, si loin qu'elle soit poussée dans l'opinion où le sujet sera venu de lui-même, toute marge d'où il puisse revenir sur l'aberration de l'analyse.

Это незаметное смещение термина оказалось возможным только от нежелания понять, что топика «*ego*», «*id*» и «*superego*» подчинена в работах Фрейда метапсихологии, термины которой вырабатывались и использовались одновременно с этой топикой, теряющий без нее всякий смысл. В результате этого непонимания аналитикам пришлось заняться психологической ортопедией, которая приносит свои плоды и по сей день.

Михаэль Балинт, с исключительной проницательностью исследовавший сложное сплетение обусловливающих рождение новой концепции анализа теоретических и технических факторов, не нашел для выражения итогов ничего лучшего, чем заимствованный у Рикмана лозунг *Two-body psychology*.

Лучше действительно не скажешь. Анализ становится взаимодействием двух тел, между которыми устанавливается фантазматическое общение, в котором аналитик учит субъекта рассматривать себя как объект, субъективность допускается только в качестве иллюзии, а речь отвергается ради поисков «переживания», проникновение в которое и становится окончательной целью. Диалектически необходимый результат такого подхода обнаруживается в том факте, что ничем не сдерживаемая субъективность психоаналитика отдает субъекта на милость любым предписаниям своей речи.

Овеществление интрасубъективной топики приводит к разделению труда между присутствующими субъектами. Извращенное применение формулы Фрейда, согласно которому все, что относится к id, должно стать принадлежностью *Эго*, при этом демистифицируется: субъект, превращенный в «*это*», вынужден сообразовываться с *Эго*, в котором аналитик без труда узнает своего союзника, так как речь идет, по сути дела, о его собственном *Эго*.

Перед нами тот самый процесс, который описывается множеством теоретических формул splitting [расщепления] *Эго* в процессе анализа. Вначале по другую сторону стены, отделяющей анализируемого от аналитика, переходит одна половина *Эго* субъекта, потом за ней следует половина оставшейся половины, и так далее; однако процесс этот протекает асимптотически, и сколь бы глубоко ни подействовал он на мнение субъекта о самом себе, у того всегда останется толика свободы, достаточная для возвращения на позиции, которые он занимал до того, как был сбит с толку психоанализом.

Mais comment le sujet d'une analyse axée sur le principe que toutes ses formulations sont des systèmes de défense, pourrait-il être défendu contre la désorientation totale où ce principe laisse la dialectique de l'analyste.

L'interprétation de Freud, dont le procédé dialectique apparaît si bien dans l'observation de Dora, ne présente pas ces dangers, car, lorsque les préjugés de l'analyste (c'est-à-dire son contre-transfert, terme dont l'emploi correct à notre gré ne saurait être étendu au-delà des raisons dialectiques de l'erreur) l'ont fourvoyé dans son intervention, il le paie aussitôt de son prix par un transfert négatif. Car celui-ci se manifeste avec une force d'autant plus grande qu'une telle analyse a déjà engagé plus loin le sujet dans une reconnaissance authentique, et il s'ensuit habituellement la rupture.

C'est bien ce qui est arrivé dans le cas de Dora, en raison de l'acharnement de Freud à vouloir lui faire reconnaître l'objet caché de son désir en cette personne de M. K. où les préjugés constituants de son contre-transfert l'entraînaient à voir la promesse de son bonheur.

Sans doute Dora était-elle elle-même feintée en cette relation, mais elle n'en a pas moins vivement ressenti que Freud le fût avec elle. Mais quand elle revient le voir, après le délai de quinze mois où s'inscrit le chiffre fatidique de son «temps pour comprendre», on la sent entrer dans la voie d'une feinte d'avoir feint, et la convergence de cette feinte au second degré, avec l'intention agressive que Freud lui impute non sans exactitude certes, mais sans en reconnaître le véritable ressort, nous présente l'ébauche de la complicité intersubjective qu'une «analyse des résistances» forte de ses droits, eût pu entre eux perpétuer. Nul doute qu'avec les moyens qui nous sont maintenant offerts par notre progrès technique, l'erreur humaine eût pu se proroger au-delà des limites où elle devient diabolique.

Tout ceci n'est pas de notre cru, car Freud lui-même a reconnu après coup la source préjudicielle de son échec dans la méconnaissance où il était alors lui-même de la position homosexuelle de l'objet visé par le désir de l'hystérique.

Sans doute tout le procès qui a abouti à cette tendance actuelle de la psychanalyse remonte-t-il, et d'abord, à la mauvaise conscience que

Но каким образом субъект анализа, построенного на убеждении, что все его формулировки суть системы защиты, можно защитить от той полной дезориентации, на которое обрекает это убеждение диалектику самого аналитика?

Интерпретация Фрейда, диалектические процедуры которой столь ярко проявляются в работе с Дорой, позволяет избежать этих опасностей, ибо если предвзятость аналитика (т.е. его контр-перенос — термин, которым, на наш взгляд, не следует злоупотреблять, распространяя его значение на что-либо помимо диалектических причин заблуждения) навела его при вмешательстве на ложный след, он тут же платится за это отрицательным переносом. Ибо этот последний проявляется с силой тем большей, чем далее вовлечен субъект анализа в процесс аутентичного узнавания; как правило, дело заканчивается обрывом анализа.

Именно это и произошло в случае Доры; причиной было усердие, с которым Фрейд принуждал Дору узнать скрытый объект ее желания в персонаже с инициалами г. К. — усердие, обусловленное тем, что в силу предвзятых мнений, ставших слагаемыми его контр-переноса, он именно в этом видел залог ее счастья.

Конечно, Дора была в этих отношениях обманута, но это не мешало ей остро почувствовать, что обманывался и сам Фрейд. И когда по прошествии пятнадцати месяцев, в которые вписан фатальный шифр ее «времени понимания», она к нему возвращается, то чувствуется, что она начала притворяться, будто притворялась прежде, и совпадение этого притворства во второй степени с агрессивными намерениями (которые, достаточно обоснованно, но не понимая их подлинного источника, приписывает ей Фрейд) набрасывает картину интерсубъективного сообщничества, которую уверенный в своих полномочиях «анализ сопротивлений» мог бы развивать до бесконечности. Не стоит сомневаться, что с помощью имеющихся теперь у нас на вооружении технических средств человеческое заблуждение может легко перейти те границы, за которыми в нем появляется нечто дьявольское.

Все это не плод нашего воображения: Фрейд впоследствии сам обнаружил источник своей ошибки, объяснив свою предвзятость тем, что проигнорировал в свое время гомосексуальную позицию того объекта, на который желание истеричного субъекта было направлено.

Конечно же, тот процесс, который привел к возникновению в психоанализе настоящей тенденции, восходит в первую очередь к

l'analyste a prise du miracle opéré par sa parole. Il interprète le symbole, et voici que le symptôme, qui l'inscrit en lettres de souffrance dans la chair du sujet, s'efface. Cette thaumaturgie est malséante à nos coutumes. Car enfin nous sommes des savants et la magie n'est pas une pratique défendable. On s'en décharge en imputant au patient une pensée magique. Bientôt nous allons prêcher à nos malades l'Evangile selon Lévy-Bruhl. En attendant, nous voici redevenus des penseurs, et voici aussi rétablies ces justes distances qu'il faut savoir garder avec les malades et dont on avait sans doute un peu vite abandonné la tradition si noblement exprimée dans ces lignes de Pierre Janet sur les petites capacités de l'hystérique comparées à nos hauteurs. «Elle ne comprend rien à la science, nous confie-t-il parlant de la pauvrette, et ne s'imagine pas qu'on puisse s'y intéresser... Si l'on songe à l'absence de contrôle qui caractérise leur pensée, au lieu de se scandaliser de leurs mensonges, qui sont d'ailleurs très naïfs, on s'étonnera plutôt qu'il y en ait encore tant d'honnêtes, etc.»

Ces lignes, pour représenter le sentiment auquel sont revenus maints de ces analystes de nos jours qui condescendent à parler au malade «son langage», peuvent nous servir à comprendre ce qui s'est passé entre-temps. Car si Freud avait éte capable de les signer, comment aurait-il pu entendre comme il l'a fait la vérité incluse aux historiettes de ses premiers malades, voire déchiffrer un sombre délire comme celui de Schreber jusqu'à l'élagir à la mesure de l'homme éternellement enchaîné à ses symboles?

Notre raison est-elle si faible que de ne pas se reconnaître égale dans la méditation du discours savant et dans l'échange premier de l'objet symbolique, et de n'y pas retrouver la mesure identique de sa ruse originelle?

Va-t-il falloir rappeler ce que vaut l'aune de la «pensée», aux praticiens d'une expérience qui en rapproche l'occupation plutôt d'un érotisme intestin que d'un équivalent de l'action?

Faut-il que celui qui vous parle vous témoigne qu'il n'a pas, quant à lui, besoin de recourir à la pensée, pour comprendre que s'il vous parle en ce moment de la parole, c'est en tant que nous avons en

укорам совести, которые испытывает психоаналитик, когда видит, что словом его совершаются чудеса. Вот он интерпретирует некий символ, и симптом этот — эти письмена, начертанные на теле субъекта страданием — бесследно исчезает. Подобное чудотворство нам не свойственно. Ведь мы как-никак ученые, а магия в науке недозволительна. Чтобы очистить совесть, приходится приписать пациенту магическое мышление. Еще немного, и мы начнем проповедовать нашим больным Евангелие от Леви-Брюля. А пока суть да дело, мы выступаем в роли мыслителей и успели восстановить дистанцию, которую по отношению к больному важно уметь сохранять — преждевременно утраченная добрая традиция, столь благородно выраженная в следующих, оценивающих скромные способности истеричного больного сравнительно с доступными нам вершинами мысли, строках Пьера Жане. «Она ничего не понимает в науке, — доверительно сообщает он о бедняжке, — и не понимает, как ей вообще можно интересоваться... Помня о бесконтрольности, характеризующей их мышление, мы должны не смущаться их ложью, к тому же очень наивной, а скорее удивляться, что меж ними остается еще столько честных людей, и т.д.».

Строки эти, отражающие взгляды, к которым вернулись сегодня те аналитики, что снисходят до разговара с пациентом «на его языке», помогают нам лучше понять то, что с тех пор успело произойти. Будь Фрейд способен подписаться под ними, разве удалось бы ему расслышать истину, заключенную в немудреных рассказах своих первых больных, а тем более расшифровать мрачный бред Шребера, угадав в нем участь всякого человека, навеки прикованного к собственным символам?

Неужто разум наш так слаб, чтобы не увидеть себя и в глубокомыслии научного дискурса, и в первичном обмене символическими объектами одним и тем же, чтобы не разглядеть и в том, и в другом общую меру собственного изначального лукавства?

Нужно ли напоминать о том, чего стоит «мышление» в глазах практиков, имеющих дело с опытом, который сближает это занятие скорее с каким-то утробным эротизмом, чем с эквивалентом действия?

Нужно ли, чтобы тот, кто обращается к вам сейчас с этой речью засвидетельствовал вам, что он, со своей стороны, не имеет нужды прибегать к «мысли», чтобы понять, что если он сейчас ведет с вами речь о речи, то возможно это лишь постольку,

commun une technique de la parole qui vous rend aptes à l'entendre quand il vous en parle, et qui le dispose à s'adresser à travers vous à ceux qui n'y entendent rien?

Sans doute avons-nous à tendre l'oreille au non-dit qui gîte dans les trous du discours, mais ceci n'est pas à entendre comme des coups qu'on frapperait derrière le mur.

Car pour ne plus nous occuper dès lors, comme l'on s'en targue, que de ces bruits, il faut convenir que nous ne nous sommes pas mis dans les conditions les plus propices à en déchiffrer le sens: comment, sans mettre bille-en-tête de le comprendre, traduire ce qui n'est pas de soi langage? Ainsi menés à en faire appel au sujet, puisque après tout c'est à son actif que nous avons à faire virer ce comprendre, nous le mettrons avec nous dans le pari, lequel est bien que nous le comprenons, et attendons qu'un retour nous fasse gagnants tous les deux. Moyennant quoi, à poursuivre ce train de navette, il apprendra fort simplement à battre lui-même la mesure, forme de suggestion qui en vaut bien une autre, c'est-à-dire que comme en toute autre on ne sait qui donne la marque. Le procédé est reconnu pour assez sûr quand il s'agit d'aller au trou [39].

A mi-chemin de cet extrême, la question est posée: la psychanalyse reste-t-elle une relation dialectique où le non-agir de l'analyste guide le discours du sujet vers la réalisation de sa vérité, où se réduira-t-elle à une relation fantasmatique où «deux abîmes se frôlent» sans se toucher jusqu'à épuisement de la gamme des régressions imaginaire — à une sorte de *bundling* [40], poussé à ses limites suprêmes en fait d'épreuve psychologique?

En fait, cette illusion qui nous pousse à chercher la réalité du sujet au-delà du mur du langage est la même par laquelle le sujet croit que sa vérité est en nous déjà donnée, que nous la connaissons à l'avance, et c'est aussi bien par là qu'il est béant à notre intervention objectivante.

Sans doute n'a-t-il pas, quant à lui, à répondre de cette erreur subjective qui, avouée ou non dans son discours, est immanente au fait qu'il est entré dans l'analyse, et qu'il en a conclu le pacte principiel.

поскольку вы разделяете с ним общую технику речи, позволяющую вам расслышать его, когда он вам о ней говорит, и располагающую его самого обратиться через вас к тем, кто не расслышит в ней ровно ничего?

Мы действительно обязаны внимательно прислушиваться к ютящемуся в дырах дискурса не-сказанному, но это не должно происходить так, словно мы прислушиваемся к стуку в стенку из соседнего помещения.

Ведь если мы, по примеру некоторых аналитиков, которые этим хвалятся, ни на что, кроме такого вот стука, впредь обращать внимания не станем, придется сознаться, что мы находимся в условиях, для расшифровки его смысла не самых благоприятных: как, не задаваясь целью во чтобы то ни стало его понять, переводить то, что по сути своей языком не является? Вынужденные на этом пути обратиться к субъекту, поскольку именно на его счет придется нам занести это понимание, мы заключаем в союзе с субъектом пари — пари, что мы его понимаем, и ожидаем ответного хода, который нас обоих оставил бы в выигрыше. В результате, продолжая эту челночную тактику, он легко научится задавать ритм сам — форма внушения не хуже всякой другой, — другими словами, форма внушения, в которой, как и в любой другой, неизвестно, кто ведет в счете. Для ухода в никуда способ зарекомендовал себя хорошо [39].

На полпути к этой крайности встает, однако, вопрос: остается ли психоанализ диалектическим взаимодействием, в котором бездействие аналитика направляет дискурс субъекта к реализации его истины, или же он сводится к фантазматическому взаимодействию, в котором «две бездны соприкасаются», не дотрагиваясь друг до друга, до тех пор, пока вся гамма воображаемых регрессий не окажется исчерпанной; к своего рода *bundling*'у [40], доведенному в порядке психологического опыта до крайних пределов?

На самом деле, иллюзия, толкающая нас на поиски реальности субъекта по другую сторону стены языка, — это та же иллюзия, которая внушает субъекту, что истина его уже дана в нас, что мы знаем ее заранее, и что именно поэтому он настежь открыт для нашего объективирующего вмешательства.

Конечно, он, со своей стороны, за эту субъективную ошибку, — признает ли он ее в своем дискурсе или нет, — не в ответе, ибо она подразумевается самим фактом его вступления в анализ и заключения соответствующего принципиального соотношения. Иг-

Et l'on saurait d'autant moins négliger la subjectivité de ce moment que nous y trouvons la raison de ce qu'on peut appeler les effets constituants du transfert en tant qu'ils se distinguent par un indice de réalité des effets constitués qui leur succèdent [41].

Freud, rappelons-le, touchant les sentiments qu'on rapporte au transfert, insistait sur la nécessité d'y distunguer un facteur de réalité, et ce serait, concluait-il, abuser de la docilité du sujet que de vouloir le persuader en tous les cas que ces sentiments sont une simple répétition transférentielle de la névrose. Dès lors, comme ces sentiments réels se manifestent comme primaires et que le charme propre de nos personnes reste un facteur aléatoire, il peut sembler qu'il y ait là quelque mystère.

Mais ce mystère s'éclaircit à l'envisager dans la phénoménologie du sujet, en tant que le sujet se constitue dans la recherche de la vérité. Il n'est que de recouvrir aux données traditionnelles que les bouddhistes nous fourniront, s'ils ne sont pas les seuls, pour reconnaître dans cette forme du transfert l'erreur propre de l'existence, et sous trois chefs dont ils font le compte ainsi: l'amour, la haine et l'ignorance. C'est donc comme contre-effet du movement analytique que nous comprendrons leur équivalence dans ce qu'on appelle un transfert positif à l'origine, — chacun trouvant à s'éclairer des deux autres sous cet aspect existentiel, si l'on n'excepte pas le troisième généralement omis pour sa proximité du sujet.

Nous évoquons ici l'invective par où nous prenait à témoin du manque de retenue dont faisait preuve un certain travail (déjà trop cité par nous) dans son objectivation insensée du jeu des instincts dans l'analyse, quelqu'un, dont on reconnaîtra la dette à notre endroit par l'usage conforme qu'il y faisait du terme de *réel*. C'est en ces mots en effet qu'il «libérait», comme on dit, «son cœur»: «Il est grand temps que finisse cette escroquerie qui tend à faire croire qu'il se passe dans le traitement quoi que ce soit de réel.» Laissons de côté ce qu'il en est advenu, car hélas! si l'analyse n'a pas guéri le vice oral du chien dont parle l'Ecriture, son état est pire qu'avant: c'est le vomissement des autres qu'il ravale.

Car cette boutade n'était pas mal orientée, cherchant en effet la distinction, jamais produite encore dans l'analyse, de ces registres élé-

норировать субъективность этого момента у нас тем менее оснований, что мы обнаруживаем в ней корень того, что можно назвать конституирующими слагаемыми переноса, отличая их, по признаку реальности, от конституируемых им последствий.[41].

Напомним, что, касаясь чувств, сопряженных с переносом, Фрейд подчеркивал необходимость различать в них фактор реальности и делал вывод, что убеждать пациента во что бы то ни стало, будто чувства его представляют собой лишь простое повторение невроза в ходе переноса, значило бы злоупотреблять его послушанием. Поскольку же эти реальные чувства заявляют о себе как первичные, и поскольку обаяние наших личностей остается фактором сомнительным, может показаться, будто здесь скрыта какая-то тайна.

Но тайна эта разъясняется в феноменологии субъекта, по мере того, как субъект конституируется в процессе поиска истины. Достаточно обратиться к традиционным данным, которые буддизм — да и не он один — может нам предоставить, чтобы узнать в этой форме переноса свойственное всякому существованию заблуждение, принимающее, как тот же буддизм подтвердит, три облика: любви, ненависти, невежества. Поэтому эквивалентность их в том, что первоначально именуется положительным переносом, мы будем считать возникающим в анализе встречным эффектом, где каждый из них объясняется в экзистенциальном аспекте двумя другими (если третий, как это обычно бывает, ввиду его близости к субъекту, не опускается).

Нам вспоминается здесь один спор, где нас призывали в свидетели допущенной в известной (уже слишком часто нами цитированной) работе нескромности, заключавшейся в бессмысленной объективации наблюдаемой в анализе игры инстинктов — призывал человек, судя по совпадающему с моим употреблению им термина «реальное», немало мне обязанный. Человек этот «облегчил», как говорится, «свою душу», следующими словами: «Пришло время положить конец шарлатанству, создающему ошибочное представление, будто в анализе происходит что-то реальное». Умолчим о том, что для него из этого вышло, ибо — увы! — если анализ не исцелил оральный грех упоминаемого в Евангелии пса, дела бедняги стали еще хуже, чем прежде, ибо он слизывает блевотину не свою, а чужую.

Выпад этот был, в общем, рассчитан правильно, ибо стремился провести различие, в психоанализе прежде никогда не делавшее-

mentaires dont nous avons depuis posé le fondement dans les termes: du symbolique, de l'imaginaire et du réel.

La réalité en effet dans l'expérience analytique reste souvent voilée sous des formes négatives, mais il n'est pas trop malaisé de la situer.

Elle se rencontre, par exemple, dans ce que nous réprouvons habituellement comme interventions actives; mais ce serait une erreur que d'en définir par là la limite.

Car il est clair, d'autre part, que l'abstention de l'analyste, son refus de répondre, est un élément de la réalité dans l'analyse. Plus exactement, c'est dans cette négativité en tant qu'elle est pure, c'est-à-dire détachée de tout motif particulier, que réside la jointure entre le symbolique et le réel. Ce qui se comprend en ceci que ce non-agir est fondé sur notre savoir affirmé du principe que tout ce qui est réel est rationnel, et sur le motif qui s'ensuit que c'est au sujet qu'il appartient de retrouver sa mesure.

Il reste que cette abstention n'est pas soutenue indéfiniment; quand la question du sujet a pris forme de vraie parole, nous la sanctionnons de notre réponse, mais aussi avons-nous montré qu'une vraie parole contient déjà sa réponse et que seulement nous doublons de notre lai son antienne. Qu'est-ce à dire? Sinon que nous ne faisons rien que donner à la parole du sujet sa ponctuation dialectique.

On voit dès lors l'autre moment où le symbolique et le réel se conjoignent, et nous l'avions déjà marqué théoriquement: dans la fonction du temps, et ceci vaut que nous nous arrêtions un moment sur les effets techniques du temps.

Le temps joue son rôle dans la technique sous plusieurs incidences.

Il se présente dans la durée totale de l'analyse d'abord, et implique le sens à donner au terme de l'analyse, qui est la question préalable à celle des signes de sa fin. Nous toucherons au problème de la fixation

ся — различие между теми первичными регистрами, основание которым мы впоследствие положили в терминах: символическое, воображаемое, реальное.

Реальность в психоаналитическом опыте действительно оказывается зачастую скрытой негативными формами, но обнаружить ее местонахождение не так уж и сложно.

Она встречается, например, в тех формах вмешательства, которые мы обычно порицаем как «активные», но было бы ошибочно этим реальность и ограничивать.

Ибо ясно также, что воздержание аналитика, его отказ отвечать, тоже является в анализе элементом реальности. Говоря еще точнее, как раз в этой негативности, в качестве именно чистой негативности, т.е. отрешенной от какого бы то ни было частного мотива, и нужно искать звено, соединяющее символическое и реальное. Это легко можно объяснить указав на то, что не-деяние аналитика основано, во-первых, на твердом знании принципа, гласящего, что все реальное рационально, и, во-вторых, на следующем из него правиле, согласно которому субъекту надлежит самому найти свои истинные масштабы.

Остается добавить, что воздержание это не продолжается до бесконечности. Когда вопрос субъекта приобретает форму истинной речи, мы санкционируем эту речь своим ответом. Но в то же время истинная речь, как мы уже показали, сама содержит в себе свой ответ, и давая ответ, мы лишь подхватываем ее антифон с другого клироса. А что это значит? Это значит, что роль наша сводится к расстановке в речи субъекта ее диалектической пунктуации.

Тем самым обнаруживается и другой момент схождения воображаемого и символического — момент, ранее уже отмеченный нами теоретически в функции времени, и потому на технических приемах, связанных со временем, нелишне здесь будет остановиться.

Роль, которую время играет в технике анализа, можно рассматривать в различных аспектах.

Прежде всего, время — это продолжительность анализа. Говоря об общей продолжительности, мы вкладываем тем самым определенный смысл в понятие «окончание анализа», не определив который, нельзя решить вопрос о признаках его завершения. Мы коснемся в дальнейшем проблемы фиксации этого окончания. Но

de son terme. Mais d'ores et déjà, il est clair que cette durée ne peut être anticipée pour le sujet que comme indéfinie.

Ceci pour deux raisons, qu'on ne peut distinguer que dans la perspective dialectique:

— l'une qui tient aux limites de notre champ et qui confirme notre propos sur la définition de ses confins: nous ne pouvons prévoir du sujet quel sera son *temps pour comprendre*, en tant qu'il inclut un facteur psychologique qui nous échappe comme tel;

— l'autre qui est proprement du sujet et par où la fixation d'un terme équivaut à une projection spatialisante, où il se trouve d'ores et déjà aliéné à lui-même: du moment que l'échéance de sa vérité peut être prévue, quoi qu'il puisse en advenir dans l'intersubjectivité intervallaire, c'est que la vérité est déjà là, c'est-à-dire que nous rétablissons dans le sujet son mirage originel en tant qu'il place en nous sa vérité et qu'en le sanctionnant de notre autorité, nous installons son analyse en une aberration, qui sera impossible à corriger dans ses résultats.

C'est bien ce qui s'est passé dans le cas célèbre de l'homme aux loups, dont l'importance exemplaire a été si bien comprise par Freud qu'il y reprend appui dans son article sur l'analyse finie ou indéfinie [42].

La fixation anticipée d'un terme, première forme d'intervention active, inaugurée (*proh pudor!*) par Freud lui-même, quelle que soit la sûreté divinatoire (au sens propre du terme) [43], dont puisse faire preuve l'analyste à suivre son exemple, laissera toujours le sujet dans l'aliénation de sa vérité.

Aussi bien en trouvons-nous la confirmation en deux faits du cas de Freud.

Premièrement, l'homme aux loups, — malgré tout le faisceau de preuves démontrant l'historicité de la scène primitive, malgré la conviction qu'il manifeste à son endroit, imperturbable aux mises en doute méthodiques dont Freud lui impose l'épreuve —, jamais n'arrive pourtant à en intérgrer sa remémoration dans son histoire.

уже теперь ясно, что для субъекта продолжительность будущего анализа всегда выглядит неопределенной.

На то есть две причины, разница между которыми видна лишь в диалектической перспективе.

Одна из них находится на границе нашей области и подтверждает наши предположения относительно ее пределов: мы не можем предвидеть за субъекта, какое *время для понимания* ему необходимо, поскольку время это включает и психологический фактор, который сам по себе нам недоступен.

Другая причина кроется в самом субъекте; именно в силу этой причины фиксация завершения эквивалентна проецированию субъекта в некий пространственный образ, в котором он отныне пребывает от себя отчужденным: с того момента, как срок, назначенный его истине, становится предсказуем, истина эта — что бы в интерсубъективном взаимодействии за это время ни произошло — фактически уже наличествует. Другими словами, по мере того, как субъект помещает в нас свою истину, мы восстанавливаем в нем его первоначальный мираж; санкционируя этот мираж своим авторитетом, мы встаем в анализе на ложный путь, результаты которого будут непоправимы.

Именно это и произошло в знаменитом случае Человека с Волками, поучительность которого Фрейд ценил настолько высоко, что вторично сослался на него в статье об анализе конечной или неопределенной продолжительности [42].

Предварительная фиксация завершения анализа, эта первая форма активного вмешательства, установленная (*proh pudor*!) самим Фрейдом, всегда — независимо от дивинационной (в буквальном смысле этого слова) способности [43], проявленной следующим его примеру аналитиком, — оставит субъект отчужденным от его истины.

И в случае, который разбирает Фрейд, мы найдем два факта, это подтверждающих.

Во-первых, несмотря на целый комплекс доказательств, подтверждающих историчность первосцены, и несмотря на убежденность, которую Человек с Волками, вопреки сомнениям, методически внушаемым ему Фрейдом, неуклонно в отношении этой сцены выказывает, интегрировать воспоминания об этой сцене в свою историю ему все же не удается.

Deuxièmement, l'homme aux loups démontre ultérieurement son aliénation de la façon la plus catégorique, sous une forme paranoïde.

Il est vrai qu'ici se mêle un autre facteur, par où la réalité intervient dans l'analyse, à savoir le don d'argent dont nous nous réservons de traiter ailleurs la valeur symbolique, mais dont la portée déjà s'indique dans ce que nous avons évoqué du lien de la parole au don constituant de l'échange primitif. Or ici le don d'argent est renversé par une initiative de Freud où nous pouvons reconnaître, autant qu'à son insistance à revenir sur ce cas, la subjectivation non résolue en lui des problèmes que ce cas laisse en suspens. Et personne ne doute que ç'ait été là un facteur déclenchant de la psychose, au reste sans savoir dire trop bien pourquoi.

Ne comprend-on pas pourtant qu'admettre un sujet à être nourri aux frais du prytanée de la psychanalyse (car c'est d'une collecte du groupe qu'il tenait sa pension) au titre du service à la science rendu par lui en tant que cas, c'est aussi l'instituer décisivement dans l'aliénation de sa vérité?

Les matériaux du supplément d'analyse où le malade est confié à Ruth Mac Brunswick illustrent la responsabilité du traitement antérieur, en démontrant nos propos sur les places respectives de la parole et du langage dans la médiation psychanalytique.

Bien plus c'est dans leur perspective qu'on peut saisir comment Ruth Mac Brunswick ne s'est en somme pas du tout mal repérée dans sa position délicate à l'endroit du transfert. (On se souviendra du mur même de notre métaphore en tant qu'il figure dans l'un des rêves, les loups du rêve-clef s'y montrant avides de le tourner...) Notre séminaire sait tout cela et les autres pourront s'y exercer [44].

Nous voulons en effet toucher un autre aspect particulièrement brûlant dans l'actualité, de la fonction du temps dans la technique. Nous voulons parler de la durée de la séance.

Ici il s'agit encore d'un élément qui appartient manifestement à la réalité, puisqu'il représente notre temps de travail, et sous cet angle, il tombe sous le chef d'une réglementation professionnelle qui peut être tenue pour prévalente.

Во-вторых, впоследствии Человек с Волками демонстрирует свое отчуждение самым категорическим образом, в параноидальной форме.

Правда, здесь играет роль еще один фактор, посредством которого реальность вторгается в анализ. Фактором этим служит денежный дар, о символической ценности которого мы поговорим в другом месте, но чье значение уже было отмечено нами, когда мы говорили о связи между речью и даром, конституирующим первоначальный обмен. В данном случае дар, по инициативе Фрейда, возвращается назад. В инициативе этой, как и в упорстве, с которым Фрейд вновь и вновь к этому случаю обращается, дает о себе знать не разрешившаяся в нем субъективация проблем, которые случай этот оставил без ответа. И никто не сомневается, что именно этот фактор психоз и спровоцировал, хотя никто толком не может сказать, почему.

Но разве не ясно, тем не менее, что допустить содержание субъекта за счет учреждения психоанализа (ибо Человек с Волками получал пенсию за счет пожертвований группы) в виде платы за ту услугу, которую он в качестве клинического случая оказывает науке, значит обречь его на окончательное отчуждение от его собственной истины?

Материалы дополнительного анализа, проведение которого было доверено Рут Мак Брунсвик, иллюстрируют ответственность предшествующего лечения, подтверждая наши соображения о взаиморасположении речи и языка в психоаналитическом опосредовании.

Больше того, в перспективе этих соображений как раз и становится ясно, что в конечном счете в деликатной позиции, занятой ею по отношению к переносу, Рут Мак Брунсвик сориентировалась совсем неплохо. (Стена, которая фигурирует в одном из снов — ключевом сне, где волки явно стремятся обойти ее, — напомнит здесь читателям о стене из моей метафоры). Те, кто посещают мой семинар, все это знают, а те, кто не посещает его, могут поупражняться сами [44].

По сути дела, мы хотим затронуть еще один аспект функционирования времени в технике анализа — аспект, имеющий сейчас жгучую актуальность. Речь пойдет о продолжительности сеанса.

Здесь снова идет речь об элементе, принадлежность которого реальности неоспорима, поскольку он представляет собой наше ра-

Mais ses incidences subjectives ne sont pas moins importantes. Et d'abord pour l'analyste. Le caractère tabou sous lequel on l'a produit dans de récents débats prouve assez que la subjectivité du groupe est fort peu libérée à son égard, et le caractère scrupuleux, pour ne pas dire obsessionnel, que prend pour certains sinon pour la plupart l'observation d'un standard dont les variations historiques et géographiques ne semblent au reste inquiéter personne est bien le signe de l'existence d'un problème qu'on est d'autant moins disposé à aborder qu'on sent qu'il entraînerait fort loin dans la mise en question de la fonction de l'analyste.

Pour le sujet en analyse, d'autre part, on n'en saurait méconnaître l'importance. L'incoscient, profère-t-on sur un ton d'autant plus entendu qu'on est moins capable de justifier ce qu'on veut dire, l'inconscient demande du temps pour se révéler. Nous en sommes bien d'accord. Mais nous demandons quelle est sa mesure? Est-ce celle de l'univers de la précision, pour employer l'expression de M. Alexandre Koyré? Sans doute nous vivons dans cet univers, mais son avènement pour l'homme est de date récente, puisqu'il remonte exactement à l'horloge de Huyghens, soit à l'an 1659, et la malaise de l'homme moderne n'indique pas précisément que cette précision soit pour lui un facteur de libération. Ce temps de la chute des graves est-il sacré comme répondant au temps des astres en tant que posé dans l'éternel par Dieu qui, comme Lichtenberg nous l'a dit, remonte nos cadrans solaires? Peut-être en prendrons-nous quelque meilleure idée en comparant le temps de la création d'un objet symbolique et le moment d'inattention où nous le laissons choir?

Quoi qu'il en soit, si le travail de notre fonction durant ce temps reste problématique, nous croyons avoir assez mis en évidence la fonction du travail dans ce qu'y réalise le patient.

Mais la réalité, quelle qu'elle soit, de ce temps en prend dès lors une valeur locale, celle d'une réception du produit de ce travail.

Nous jouons un rôle d'enregistrement, en assumant la fonction fondamentale en tout échange symbolique, de recueillir ce que *do kamo,* l'homme dans son authenticité, appelle la parole qui dure.

бочее время, и с этой точки зрения попадает под действие господствующей в наше время системы профессиональной регламентации.

Но не менее важны и его субъективные следствия. И в первую очередь для аналитика. Табуированный характер его обсуждения в недавних дискуссиях достаточно ясно свидетельствует, что субъективность психоаналитической группы в данном отношении недостаточно раскрепощена, а скрупулезное, чтобы не сказать навязчивое, отношение иных аналитиков к соблюдению стандарта, исторические и географические вариации которого никого, похоже, особенно не смущают, указывает на существование проблемы, взяться за которую никто не расположен из опасения зайти слишком далеко в постановке вопроса о функции аналитика.

С другой стороны, очевидно и то, насколько важен этот вопрос для анализирующего субъекта. Бессознательному — говорят специалисты как нечто само собой разумеющееся тоном тем более уверенным, чем менее они способны свои слова подтвердить, — бессознательному, чтобы обнаружить себя, требуется время. Что ж, мы согласны. Мы только интересуемся, какой мерой это время измерить. Принадлежит ли эта мера тому, что Александр Койре назвал «универсумом точности»? Разумеется, мы в этом универсуме живем, но оказался в нем человек недавно, точнее говоря, с 1659 года, ознаменованного появлением часов Гюйгенса, и неудовлетворенность, которую наш современник испытывает, уж точно не свидетельствует в пользу того, что эта точность стала для него освобождающим фактором. Соответствуя времени звезд — времени, положенному Богом, который, по выражению Лихтенберга, заводит наши солнечные часы — не остается ли время падения тяжестей чем-то священным? А может быть, гораздо лучшее представление о нем мы получим, сравнивая время создания символического объекта с моментом невнимания, когда мы бросаем его?

И хотя работа, связанная с исполнением наших собственных функций в течение этого времени, остается проблематичной, функцию работы в том, что за это время проделывает пациент мы, по нашему мнению, выявили достаточно ясно.

Но реальность этого времени, какой бы она ни была, приобретает в таком случае локальную ценность, которая заключается в приеме продуктов этой работы.

Мы, со своей стороны, играем здесь роль регистратора, берущего на себя основополагающую во всяком символическом обмене

Témoin pris à partie de la sincérité du sujet, dépositaire du procès-verbal de son discours, référence de son exactitude, garant de sa droiture, gardien de son testament, tabellion de ses codicilles, l'analyste participe du scribe.

Mais il reste le maître de la vérité dont ce discours est le progrès. C'est lui, avant tout, qui en ponctue, avons-nous dit, la dialectique. Et ici, il est appréhendé comme juge du prix de ce discours. Ceci comporte deux conséquences.

La suspension de la séance ne peut pas ne pas être éprouvée par le sujet comme une ponctuation dans son progrès. Nous savons comment il en calcule l'échéance pour l'articuler à ses propres délais, voire à ses échappatoires, comment il l'anticipe en le soupesant à la façon d'une arme, en la guettant comme un abri.

C'est un fait qu'on constate bien dans la pratique des textes des écritures symboliques, qu'il s'agisse de la Bible ou des canoniques chinois: l'absence de ponctuation y est une source d'ambiguité, la ponctuation posée fixe le sens, son changement le renouvelle ou le bouleverse, et, fautive, elle équivaut à l'altérer.

L'indifférence avec laquelle la coupure du *timing* interrompt les moments de hâte dans le sujet, peut être fatale à la conclusion vers quoi se précipitait son discours, voire y fixer un malentendu, sinon donner prétexte à une ruse rétorsive.

Les débutants semblent plus frappés des effets, de cette incidence, ce qui des autres fait penser qu'ils en subissent la routine.

Certes la neutralité que nous manifestons à appliquer strictement cette règle maintient la voie de notre non-agir.

Mais ce non-agir a sa limite, ou bien il n'y aurait pas d'intervention: et pourqoui la rendre impossible en ce point ainsi privilégié?

Le danger que ce point prenne valeur obsessionnelle chez l'analyste, est simplement qu'il prête à la connivence du sujet: non pas seulement ouverte à l'obsessionnel, mais chez lui prenant vigueur spéciale,

функцию по собиранию того, что «*do kamo*», т.е. подлинный человек, именует «словом, которое пребывает».

Свидетель, призванный удостоверить искренность субъекта, протоколист его дискурса, веритель его точности, гарант его прямоты, страж и нотариус его завещания, аналитик имеет что-то общее с писцом.

Но при этом он остается во владении истиной, прогресс которой этим дискурсом знаменуется. Именно он расставляет в диалектике дискурса знаки пунктуации. Именно ему доверяется судить о ценности этого дискурса. Это имеет следующие два следствия.

Перерыв сеанса не может не переживаться субъектом как своего рода знак пунктуации достигнутого успеха. Мы прекрасно знаем, как он рассчитывает сроки этого перерыва, чтобы артикулировать их своими проволочками и уловками; знаем, как он предвосхищает этот перерыв, взвешивая его подобно оружию, и готовый укрыться в него как в убежище.

Известно, что в рукописях символических писаний, будь то Библия или книги китайского Канона, отсутствие пунктуации является источником двусмысленности. Расстановка пунктуации фиксирует смысл, изменение ее этот смысл обновляет или меняет на противоположный, а ошибочная пунктуация искажает его.

Безразличие, с которым фиксированный *timing* прерывает у субъекта момент спешки, может оказаться роковым для завершения, к которому стремится его дискурс, закрепить недоразумение, и даже подать повод к враждебным уловкам.

Больше всего подобным результатам удивляются новички, и это наводит на мысль о том, что другие смирились с ними как делом обычным.

Конечно, нейтральность, проявляющаяся в строгом следовании этому правилу, не выходит за рамки нашего принципа бездействия.

Но бездействие это имеет границы; в противном случае вмешательства вообще не было бы, а почему в этом, столь привилегированном пункте должны мы, собственно, делать его невозможным?

Опасность, что пункт этот приобретет для психоаналитика навязчивый характер, основана просто-напросто на том, что он подает повод к «подыгрыванию» со стороны субъекта — подыгрыванию, у обсессивного субъекта не только открытому, но и необычайно активному, и активному именно в силу его ощущения

justement de son sentiment du travail. On sait la note de travail forcé qui chez ce sujet enveloppe jusqu'à ses loisirs.

Ce sens est soutenu par sa relation subjective au maître en tant que c'est sa mort qu'il attend.

L'obsessionnel manifeste en effet une des attitudes que Hegel n'a pas développées dans sa dialectique du maître et de l'esclave. L'esclave s'est dérobé devant le risque de la mort, où l'occasion de la maîtrise lui était offerte dans une lutte de pur prestige. Mais puisqu'il sait qu'il est mortel, il sait aussi que le maître peut mourir. Dès lors, il peut accepter de travailler pour le maître et de renoncer à la jouissance entre-temps: et dans l'incertitude du moment où arrivera la mort du maître, il attend.

Telle est la raison intersubjective tant du doute que de la procrastination qui sont des traits de caractère chez l'obsessionnel.

Cependant tout son travail s'opère sous le chef de cette intention, et devient de ce chef doublement aliénant. Car non seulement l'œuvre du sujet lui est dérobée par un autre, ce qui est la relation constituante de tout travail, mais la reconnaissance par le sujet de sa propre essence dans son œuvre où ce travail trouve sa raison, ne lui échappe pas moins, car lui-même «n'y est pas», il est dans le moment anticipé de la mort du maître, à partir de quoi il vivra, mais en attendant quoi il s'identifie à lui comme mort, et ce moyennant quoi il est lui-même déjà mort.

Néanmoins il s'efforce à tromper le maître par la démonstration des bonnes intentions manifestées dans son travail. C'est ce que les bons enfants du catéchisme analytique expriment dans leur rude langage en disant que l'*ego* du sujet cherche à séduire son *super-ego*.

Cette formulation intra-subjective se démystifie immédiatement à la comprendre dans la relation analytique, où le *working through* du sujet est en effet utilisé pour la séduction de l'analyste.

Ce n'est pas par hasard non plus que, dès que le progrès dialectique approche de la mise en cause des intentions de l'*ego* chez nos sujets, le fantasme de la mort de l'analyste, souvent ressenti sous la forme d'une crainte, voire d'une angoisse, ne manque jamais de se produire.

Et le sujet de repartir dans une élaboration encore plus démonstrative de sa «bonne volonté».

Comment douter, dès lors, de l'effet de quelque dédain marqué par le

проделываемой работы. Переживание вынужденной работы, преследующее субъекта даже на досуге, слишком хорошо известно.

Это чувство опирается на его субъективное отношение к господину, поскольку ожидает он не иначе как его смерти.

По сути дела обсессивный невротик служит примером одной из ситуаций, которые Гегелем в его диалектике господина и раба не были разработаны. Раб уклонился от смертельного риска, с которым связана возможность завоевать господство в борьбе чисто престижного характера. Но, зная о том, что сам он смертен, раб знает также, что может умереть и господин. Поэтому он может согласиться работать на господина и отказаться на это время от наслаждения в ожидании момента, когда господин умрет.

В этом кроется интерсубъективная причина сомнения и промедления, характерных для поведения обсессивного субъекта.

Тем временем весь труд его вершится под знаком этого намерения и становится в результате вдвойне отчуждающим. Ибо не только плоды его труда присваиваются другим, что является конституирующим всякую работу условием, но и в самих плодах этих, оправдывающих его работу, субъект уже не узнает своей сущности, ибо его самого «там нет» — он ведь находится в предвосхищаемом им моменте смерти господина, который означает для него начало жизни, но в ожидании которого он идентифицирует себя с ним как мертвым, в силу чего и сам, собственно, уже мертв.

Тем не менее он старается обмануть господина, демонстрируя ему благие намерения, проявляющиеся в его работе. На топорном языке пай-мальчиков аналитического катехизиса это звучит так: *Эго* субъекта ищет соблазнить его *Супер-эго*.

Эта интрасубъективная формулировка сразу же демистифицируется в аналитической связи, где *working through* субъекта действительно используется для соблазнения аналитика.

Не случайно и то, что когда ход диалектики анализа грозит затронуть намерения *Эго* субъекта, обязательно возникает и фантазм смерти аналитика, часто переживаемый в форме страха или тревоги.

В результате субъект пускается проявлять свою «добрую волю» еще более демонстративно.

Поэтому нет сомнения, что пренебрежение, выказанное господином к плодам подобной работы, произведет определенный эф-

maître pour le produit d'un tel travail? La résistance du sujet peut s'en trouver absolument déconcertée.

De ce moment, son alibi jusqu'alors inconscient commence à se découvrir pour lui, et on le voit rechercher passionnément la raison de tant d'efforts.

Nous n'en dirions pas tant si nous n'étions pas convaincu qu'à expérimenter en un moment, venu à sa conclusion de notre expérience, ce qu'on a appelé nos séances courtes, nous avons pu faire venir au jour chez tel sujet mâle, des fantasmes de grossesse anale avec le rêve de sa résolution par césarienne, dans un délai où autrement nous en aurions encore été à écouter ses spéculations sur l'art de Dostoïewski.

Au reste nous ne sommes pas là pour défendre ce procédé, mais pour montrer qu'il a un sens dialectique précis dans son application technique[45].

Et nous ne sommes pas seul à avoir fait la remarque qu'il rejoint à la limite la technique qu'on désigne sous le nom de *zen*, et qui est appliquée comme moyen de révélation du sujet dans l'ascèse traditionnelle de certaines écoles extrême-orientales.

Sans aller jusqu'aux extrêmes où se porte cette technique, puisqu'ils seraient contraires à certaines des limitations que la nôtre s'impose, une application discrète de son principe dans l'analyse nous paraît beaucoup plus admissible que certains modes dits d'analyse des résistances, pour autant qu'elle ne comporte en elle-même aucun danger d'aliénation du sujet.

Car elle ne brise le discours que pour accoucher la parole.

Nous voici donc au pied du mur, au pied du mur du langage. Nous y sommes à notre place, c'est-à-dire du même côté que le patient, et c'est sur ce mur, qui est le même pour lui et pour nous, que nous allons tenter de répondre à l'écho de sa parole.

Au-delà de ce mur, il n'y a rien qui ne soit pour nous ténèbres extérieures. Est-ce à dire que nous soyons entièrement maîtres de la situation? Certainement pas, et Freud là-dessus nous a légué son testament sur la réaction thérapeutique négative.

La clef de ce mystère, dit-on, est dans l'instance d'un masochisme primordial, soit dans une manifestation à l'état pur de cet instinct de mort dont Freud nous a proposé l'énigme à l'apogée de son expérience.

фект. Сопротивление субъекта может благодаря ему оказаться совершенно расстроенным.

С этого момента свое алиби, до сих пор бессознательное, начинает открываться ему, и мы видим, сколь отчаянно ищет он причину столь великих трудов.

Мы не говорили бы всего этого, если бы еще раньше, в период, ныне уже завершенный, нашей работы, нам не удалось благодаря экспериментам с короткими сеансами обнаружить у субъекта мужского пола фантазм анальной беременности и сновидение о разрешении от нее путем кесарева сечения; не сделай мы этого вовремя, нам пришлось бы выслушивать его рассуждения об искусстве Достоевского до сих пор.

Мы, впрочем, не собираемся защищать здесь эту процедуру, мы просто хотели бы показать, что в основе ее технического применения лежит абсолютно четкий диалектический смысл [45].

И мы не единственные, кто обратили внимание, что в конечном счете она смыкается с техникой, известной под именем дзэн и применяемой как способ раскрытия субъекта в традиционной аскезе некоторых дальневосточных школ.

Не доходя до крайностей этой техники, выходящих за рамки накладываемых нашей методикой определенных ограничений, мы полагаем, что тонко расчитанное использование ее принципов в психоанализе гораздо более приемлемо, нежели иные виды пресловутого анализа сопротивлений, поскольку не несет в себе ни малейшей опасности отчуждения субъекта.

Ибо она прерывает дискурс лишь для того, чтобы дать родиться речи.

Итак, мы у подножия стены — стены языка. Мы находимся на своем месте, т.е. по ту же сторону стены, что и пациент; и именно у этой стены, которая что для нас, что для него одна и та же, мы и попробуем отозваться на эхо его речи.

По ту сторону стены нет ничего, что не было бы для нас сплошной внешней тьмой. Значит ли это, что мы целиком господа положения? Конечно нет, и на этот счет мы имеем завещание Фрейда относительно негативной терапевтической реакции.

Утверждают, что ключ к этой тайне надо искать в инстанции изначального мазохизма — другими словами, в проявлении в чистом виде того инстинкта смерти, загадку которого Фрейд загадал нам в лучший период своей деятельности.

6*

Nous ne pouvons en faire fi, pas plus que nous ne pourrons ici ajourner son examen.

Car nous remarquerons que se conjognent dans un même refus de cet achèvement de la doctrine, ceux qui mènent l'analyse autour d'une conception de l'*ego* dont nous avons dénoncé l'erreur, et ceux qui, comme Reich, vont si loin dans le principe d'aller chercher au-delà de la parole l'ineffable expression organique, que pour, comme lui, la délivrer de son armure, ils pourraient comme lui symboliser dans la superposition des deux formes vermiculaires dont on peut voir son livre de l'*analyse du caractère* le stupéfiant schéma, l'induction orgasmique qu'ils attendent comme lui de l'analyse.

Conjonction qui nous laissera sans doute augurer favorablement de la rigueur des formations de l'esprit, quand nous aurons montré le rapport profond qui unit la notion de l'instinct de mort aux problèmes de la parole.

La notion de l'instinct de mort, pour si peu qu'on la considère, se propose comme ironique, son sens devant être cherché dans la conjonction de deux termes contraires: l'instinct en effet dans son acception la plus compréhensive est la loi qui règle dans sa succession un cycle de comportement pour l'accomplissement d'une fonction vitale, et la mort apparaît d'abord comme la destruction de la vie.

Pourtant la définition que Bichat, à l'orée de la biologie, a donnée de la vie comme de l'ensemble des forces qui résistent à la mort, non moins que la conception la plus moderne que nous en trouvons chez un Cannon dans la notion de l'homéostase, comme fonction d'un système entretenant son propre équilibre, — sont là pour nous rappeler que vie et mort se composent en une relation polaire au sein même de phénomènes qu'on rapporte à la vie.

Dès lors la congruence des termes contrastés de l'instinct de mort aux phénomènes de répétition auxquels l'explication de Freud les rapporte en effet sous la qualification de l'automatisme, ne devrait pas faire de difficultés, s'il s'agissait là d'une notion biologique.

Chacun sent bien qu'il n'en est rien, et c'est là ce qui fait buter maints d'entre nous sur son problème. Le fait que beaucoup s'arrêtent à l'incompatibilité apparente de ces termes peut même rete

Отвернуться от этой проблемы мы не можем, как не можем и оттягивать здесь ее рассмотрение.

Ведь легко видеть, что отказ принять этот завершающий пункт фрейдовского учения объединяет тех, кто строит анализ на концепции *Эго*, ошибочность которой мы уже показали, с теми, кто подобно Райху, заходит в поисках лежащих по ту сторону речи неизреченных средств органической выразительности настолько далеко, что, пытаясь, как он, извлечь эту органическую выразительность из защитного панциря, вполне могли бы воспользоваться наложением двух червеобразных форм, потрясающее изображение которых можно найти в книге *Анализ характера*, в качестве символа той оргазмической индукции, которой они, как и он, ждут от анализа.

Единение это даст основание для благоприятного прогноза в отношении строгости мысленных конструкций, когда нам удастся показать глубокую связь между понятием инстинкта смерти и проблемами речи.

Понятие инстинкта смерти уже при первом внимательном рассмотрении обнаруживает свою ироничность, ибо смысл его следует искать в соединении двух противоположных терминов: ведь слово «инстинкт», взятое в самом общем значении, означает закон, регулирующий последовательность цикла поведения, направленного на выполнение той или иной жизненной функции; в то время как смерть проявляется в первую очередь как разрушение жизни.

Тем не менее и данное еще на заре биологии Биша определение жизни как совокупности сил, противящихся смерти, и новейшая концепция жизни, которую мы находим у Кэннона в его понятии гомеостаза как функции системы, направленной на поддержание ее собственного равновесия, в равной мере напоминают нам, что жизнь и смерть связаны как два полюса, лежащие в самой основе всех имеющих отношение к жизни феноменов.

Поэтому конгруэнтность входящих в понятие «инстинкт смерти» контрастирующих терминов феноменам повторения, с которыми объяснения Фрейда и соотносят их под именем «автоматизма», не представляло бы никаких трудностей, если бы речь шла только о понятии биологическом.

Но мы все чувствуем, что это не так, и именно поэтому данная проблема становится для многих из нас камнем преткновения. Тот факт, что многие останавливаются перед кажущейся несов-

nir notre attention en ce qu'il manifeste une innocence dialectique que déconcerterait sans doute le problème classiquement posé à la sémantique dans l'énoncé déterminatif: un hameau sur le Gange, par quoi l'esthétique hindoue illustre la deuxième forme des résonances du langage[46].

Il faut aborder en effet cette notion par ses résonances dans se que nous appellerons la poétique de l'œuvre freudienne, première voie d'accès pour en pénétrer le sens, et dimension essentielle à en comprendre la répercussion dialectique des origines de l'œuvre à l'apogée qu'elle y marque. Il faut se souvenir, par exemple, que Freud nous témoigne avoir trouvé sa vocation médicale dans l'appel entendu d'une lecture publique du fameux *Hymne à la nature* de Gœthe, soit dans ce texte retrouvé par un ami où le poète au déclin de sa vie a accepté de reconnaître un enfant putatif des plus jeunes effusions de sa plume.

A l'autre extrême de la vie de Freud, nous trouvons dans l'article sur l'analyse en tant que finie et indéfinie, la référence expresse de sa nouvelle conception au conflit des deux principes auxquels Empédocle d'Agrigente, au Ve siècle avant Jésus-Christ, soit dans l'indistinction présocratique de la nature et de l'esprit, soumettait les alternances de la vie universelle.

Ces deux faits nous sont une suffisante indication qu'il s'agit là d'un mythe de la dyade dont la promotion dans Platon est au reste évoquée dans l'*Au-delà du principe du plaisir,* mythe qui ne peut se comprendre dans la subjectivité de l'homme moderne qu'en l'élevant à la négativité du jugement où il s'inscrit.

C'est-à-dire que de même l'automatisme de répétition qu'on méconnaît tout autant à vouloir en diviser les termes, ne vise rien d'autre que la temporalité historisante de l'expérience du transfert, de même l'instinct de mort exprime essentiellement la limite de la fonction historique du sujet. Cette limite est la mort, non pas comme échéance éventuelle de la vie de l'individu, ni comme certitude empirique du sujet, mais selon la formule qu'en donne Heidegger, comme «possibilité absolument propre, inconditionnelle, indépassable, certaine et

местимостью этих терминов, достоин нашего внимания уже тем, что обнаруживает диалектическую невинность, которую, без сомнения, легко смутила бы семантическая проблема, нашедшая классическое выражение в определительном высказывании «поселок на Ганге», которым индийская эстетика иллюстрирует вторую форму языковых резонансов[46].

К понятию этому следует подходить через его резонансы — резнансы в той среде, которую мы назовем поэтикой фрейдовского наследия. Именно здесь нужно искать ключ к его смыслу и измерение, существенное для понимания его диалектических отголосков в работах Фрейда, начиная от самых первых и кончая апогеем его творчества, который появлением этого понятия и знаменуется. Стоит напомнить, к примеру, что по свидетельству самого Фрейда его медицинское призвание было внушено ему услышанным им публичным чтением знаменитого Гетевского *Гимна природе* — этого найденного одним из друзей Гете текста, в котором на склоне лет поэт согласился признать одно из первых законных детищ своего юного пера.

У позднего Фрейда, в статье, посвященной анализу конечной и неопределенной продолжительности, мы обнаруживаем совершенно ясные указания на связь его новой концепции с конфликтом двух враждующих принципов, в зависимость от которых еще в V в. до Р.Х., т.е. в досократовскую эпоху, не делавшую различия между природой и духом, Эмпедокл Агригентский ставил чередование фаз вселенской жизни.

Эти два факта достаточно ясно показывают, что речь идет о мифе о диаде, платоновское изложение которого упоминается, кстати, в работе *По ту сторону принципа удовольствия*, — мифе, который в субъективности современного человека становится мыслим лишь по мере того, как возвышается нами до негативности суждения, в которое он вписывается.

Это значит, что как автоматизм повторения — теми, кто хотел бы эти два термина разделить, в равной мере непонятый —имеет в виду историзирующую темпоральность опыта переноса, так инстинкт смерти выражает, в сущности, предел исторической функции субъекта. Пределом этим является смерть — не как случайный срок индивидуальной жизни, и не как эмпирическая уверенность субъекта, а, согласно формуле Хайдеггера, как «абсолютно собственная, безусловная, неизбывная, достоверная, и как

comme telle indéterminée du sujet», entendons-le du sujet défini par son historicité.

En effet cette limite est à chaque instant présente en ce que cette histoire a d'achevé. Elle représente le passé sous sa forme réelle, c'est-à-dire non pas le passé physique dont l'existence est abolie, ni le passé épique tel qu'il s'est parfait dans l'œuvre de mémoire, ni le passé historique où l'homme trouve le garant de son avenir, mais le passé qui se manifeste renversé dans la répétition [47].

Tel est le mort dont la subjectivité fait son partenaire dans la triade que sa médiation institue dans le conflit universel de *Philia,* l'amour, et de *Neikos,* la discorde.

Il n'est plus besoin dès lors de recourir à la notion périmée du masochisme primordial pour comprendre la raison des jeux répétitifs où la subjectivité fomente tout ensemble la maîtrise de sa déréliction et la naissance du symbole.

Ce sont ces jeux d'occultation que Freud, en une intuition géniale, a produits à notre regard pour que nous y reconnaissions que le moment où le désir s'humanise est aussi celui où l'enfant naît au langage.

Nous pouvons maintenant y saisir que le sujet n'y maîtrise pas seulement sa privation en assumant, mais qu'il y élève son désir à une puissance seconde. Car son action détruit l'objet qu'elle fait apparaître et disparaître dans la *provocation* anticipante de son absence et de sa présence. Elle négative ainsi le champ de forces du désire pour devenir à elle-même son propre objet. Et cet objet prenant aussitôt corps dans le couple symbolique de deux jaculations élémentaires, annonce dans le sujet l'intégration diachronique de la dichotomie des phonèmes, dont le langage existant offre la structure synchronique à son assimilation; aussi bien l'enfant commence-t-il à s'engager dans le système du discours concret de l'ambiance, en reproduisant plus ou moins approximativement dans son *Fort!* et dans son *Da!* les vocables qu'il en reçoit.

Fort! Da! c'est bien dans déjà sa solitude que le désir du petit d'homme est devenu le désir d'un autre, d'un *alter ego* qui le domine et dont l'objet de désir est désormais sa propre peine.

таковая, неопределенная возможность» субъекта», где субъект понимается как обусловленный своей историчностью.

Во всем, что есть в этой истории законченного, предел этот действительно каждый момент присутствует и представляет он прошлое в его реальной форме. Речь идет, таким образом, не о физическом прошлом, существование которого упразднено, не об эпическом прошлом в том идеальном виде, в каком оно слагается в работе памяти, не об историческом прошлом, в котором человек обретает поручителя за свое будущее, а о прошлом, которое в обращенной форме обнаруживает себя в повторении[47].

Вот он, тот мертвец, которого субъективность делает своим партнером в триаде, выстраиваемой при ее посредничестве в универсальном конфликте любви (*Philia*) и раздора (*Neikos*).

И нет больше нужды обращаться к устаревшему понятию первичного мазохизма, чтобы понять смысл тех игр с мотивами повторения, где субъективность приступает к преодолению своей заброшенности и рождению символа.

Речь идет о тех играх сокрытия-обнаружения, указав на которые, гениальная интуиция Фрейда дала нам понять, что момент, когда желание становится человеческим, совпадает с моментом, когда ребенок рождается в язык.

Теперь мы способны понять, что в этот момент субъект не просто справляется со своим лишением, принимая его, но возводит свое желание во вторую степень. Ибо его действие разрушает тот объект, который оно само заставляет появляться и исчезать, предвосхищая и разом *провоцируя* его отсутствие и присутствие. Таким образом, его действие негативизирует силовое поле желания, становясь объектом для себя самого. И объект этот, немедленно воплотившись в символическую пару двух элементарных восклицаний, говорит о происшедшей в субъекте диахронической интеграции дихотомии фонем, чью синхроническую структуру существующий язык предлагает ему усвоить; более того, ребенок начинает включаться в систему конкретного дискурса своего окружения, более или менее приблизительно воспроизводя в своем Fort! и в своем Da! слога, которые он от этого окружения получает.

Fort! Da! Даже в одиночестве желание маленького человека успело стать желанием другого, желанием некоего alter ego, который над ним господствует и чей объект желания становится отныне его собственной бедой.

Que l'enfant s'adresse maintenant à un partenaire imaginaire ou réel, il le verra obéir également à la négativité de son discours, et son appel ayant pour effet de le faire se dérober, il cherchera dans une intimation bannissante la provocation du retour qui le ramène à son désir.

Ainsi le symbole se manifeste d'abord comme meurtre de la chose, et cette mort constitue dans le sujet l'éternisation de son désir.

Le premier symbole où nous reconnaissons l'humanité dans ses vestiges, est la sépulture, et le truchement de la mort se reconnaît en toute relation où l'homme vient à la vie de son histoire.

Seule vie qui perdure et qui soit véritable, puisqu'elle se transmet sans se perdre dans la tradition perpétuée de sujet à sujet. Comment ne pas voir de quelle hauteur elle transcende cette vie héritée par l'animal et où l'individu s'évanouit dans l'espèce, puisque aucun mémorial ne destingue son éphemére apparition de celle qui la reproduira dans l'invariabilité du type. Mises à part en effet ces mutations hypothétiques du *phylum* que doit intégrer une subjectivité que l'homme n'approche encore que du dehors, — rien, sinon les expériences où l'homme l'associe, ne distingue un rat du rat, un cheval du cheval, rien sinon ce passage inconsistant de la vie à la mort —, tandis qu'Empédocle se précipitant dans l'Etna, laisse à jamais présent dans la mémoire des hommes cet acte symbolique de son être-pour-la-mort.

La liberté de l'homme s'inscrit toute dans le triangle constituant de la renonciation qu'il impose au désir de l'autre par la menace de la mort pour la jouissance des fruits de son servage, — du sacrifice consenti de sa vie pour les raisons qui donnent à la vie humaine sa mesure —, et du renoncement suicide du vaincu frustrant de sa victoire le maître qu'il abandonne à son inhumaine solitude.

De ces figures de la mort, la troisième est le suprême détour par où la particularité immédiate du désir, reconquérant sa forme ineffable, retrouve dans la dénégation un triomphe dernier. Et il nous faut en reconnaître le sens, car nous avons affaire à elle. Elle n'est pas en effet une perversion de l'instinct, mais cette affirmation désespérée de

Обратится ли теперь ребенок к реальному партнеру или воображаемому, тот всегда окажется послушен присущей его дискурсу силе отрицания, и когда в ответ на обращенный к этому партнеру призыв тот станет ускользать, он будет уведомлениями об изгнании провоцировать его возвращение, вновь приводящее его к своему желанию.

Итак, символ с самого начала заявляет о себе убийством вещи, и смертью этой увековечивается в субъекте его желание.

Первый символ, в котором мы узнаем человечество по его останкам, это гробница, и в любых отношениях, связывающих человека с жизнью его истории, дает о себе знать посредничество смерти.

Это и есть та единственная жизнь, которая пребывает и которая истинна, поскольку в непрерывной традиции невредимой передается от субъекта в субъекту. Как не увидеть, насколько превосходит она жизнь, унаследованную от животного, где особь целиком исчезает в роде, и где ни одна памятная черта не отличает ее эфемерного явления на свет от того последующего, которому суждено воспроизвести род, сохраняя неизменность типа. На самом деле, если не считать тех гипотетических мутаций *phylum*'а, что должна интегрировать субъективность, к которой человек подступает покуда лишь с внешней стороны, ничто, помимо опытов, к которым человек их привлекает, не отличает крысы от крысы или лошади от лошади — ничто, кроме зыбкого перехода от жизни к смерти. Эмпедокл же, бросившись в жерло Этны, навсегда оставил этот символический акт своего бытия-к-смерти в человеческой памяти.

Свобода человека целиком вписывается в конституирующий ее треугольник, образуемый отречением, навязанным желанию другого под угрозой смерти за наслаждение плодами его рабства; добровольным самопожертвованием по мотивам, задающим меру человеческой жизни; и жертвенным самоубийством побежденного, который лишает господина плодов победы, оставляя его в одиночестве, где нет больше ничего человеческого.

В этом третьем своем обличье смерть является той последней уловкой, с помощью которой желание в его непосредственной особенности вновь отвоевывает былую неизреченность своей формы и посредством отречения добивается окончательного триумфа. И сталкиваясь с этим обличьем, мы должны правильно понимать его смысл. Перед нами вовсе не извращение инстинкта,

la vie qui est la forme la plus pure où nous reconnaissions l'instinct de mort.

Le sujet dit: «Non!» à ce jeu du furet de l'intersubjectivité où le désir ne se fait reconnaître un moment que pour se perdre dans un vouloir qui est vouloir de l'autre. Patiemment, il soustrait sa vie précaire aux moutonnantes agrégations de l'Eros du symbole pour l'affirmer enfin dans une malédiction sans parole.

Aussi quand nous voulons atteindre dans le sujet ce qui était avant les jeux sériels de la parole, et ce qui est primordial à la naissance des symboles, nous le trouvons dans la mort, d'où son existence prend tout ce qu'elle a de sens. C'est comme désir de mort en effet qu'il s'affirme pour les autres; s'il s'identifie à l'autre, c'est en le figeant en la métamorphose de son image essentielle, et tout être par lui n'est jamais évoqué que parmi les ombres de la mort.

Dire que ce sens mortel révèle dans la parole un centre exrérieur au langage, est plus qu'une métaphore et manifeste une structure. Cette structure est différente de la spatialisation de la circonférence ou de la sphère où l'on se plaît à schématiser les limites du vivant et de son milieu: elle répond plutôt à ce groupe relationnel que la logique symbolique désigne topologiquement comme un anneau.

A vouloir en donner une représentation intuitive, il semble que plutôt qu'à la superficialité d'une zone, c'est à la forme tridimensionnelle d'un tore qu'il faudrait recourir, pour autant que son extériorité périphérique et son extériorité centrale ne constituent qu'une seule région [48].

Ce schéma satisfait à la circularité sans fin du processus dialectique qui se produit quand le sujet réalise sa solitude, soit dans l'ambiguïté vitale du désir immédiat, soit dans la pleine assomption de son être-pour-la-mort.

Mais l'on y peut saisir du même coup que la dialectique n'est pas individuelle, et que la question de la terminasion de l'analyse est celle du moment où la satisfaction du sujet trouve à se réaliser dans la satisfaction de chacun, c'est-à-dire de tous ceux qu'elle s'associe dans une œuvre humaine. De toutes celles qui se proposent dans le siècle, l'œuvre du psychanalyste est peut-être la plus haute parce qu'elle y

а то отчаянное утверждение жизни, которое является чистейшей из форм, являющих нам инстинкт смерти.

Субъект говорит «нет!» той игре интерсубъективности в хорька *, где желание его дает о себе знать лишь на мгновение, чтобы тут же вновь потеряться в воле, которая является волей другого. Терпеливо выводит он свою полную превратностей жизнь из пенящихся в символе скоплений Эроса, чтобы утвердить ее в конце концов на камне бессловесного проклятия.

Поэтому поиски того, что существовало в субъекте до сериальных комбинаций речи, что предшествовало рождению символов, приводит нас, наконец, к смерти, откуда существование его черпает все свое смысловое содержание. Именно как желание смерти утверждает он себя для других; идентифицируя себя с другим, он намертво фиксирует его в метаморфозе присущего ему облика; ни одно существо не призывается им иначе, нежели среди теней царства мертвых.

Говоря, что этот смертоносный смысл обнаруживает в речи наличие внешнего по отношению к языку центра, мы не просто предлагаем метафору, а указываем на некую структуру. Структура эта не имеет ничего общего с пространственными схемами в виде сферы или окружности, которыми любят зачастую иллюстрировать границу живого организма и его среды; она ближе, пожалуй, к той числовой группе, которую символическая логика топологически описывает как кольцо.

Если уж мы хотим создать о ней какое-то интуитивное представление, то лучше всего, наверное, прибегнуть для этого не к свойствам поверхности зоны, а к трехмерной форме тора, чьи внешние объемы, как центральный, так и периферический, образуют одну-единственную область [48].

Схема эта хорошо отражает бесконечную цикличность диалектического процесса, возникающего всякий раз, когда субъект осознает свое одиночество — будь-то в витальной двусмысленности непосредственного желания, или в безоговорочном принятии своего бытия-к-смерти.

Одновременно можно убедиться, что диалектика не индивидуальна, и что вопрос об окончании анализа — это вопрос о том моменте, когда удовлетворение субъекта найдет способ реализовать себя в удовлетворении каждого, т.е. всех тех, с кем оно связывает себя в человеческих начинаниях. Из всех же начинаний этого столетия психоаналитическое является наиболее возвышенным, ибо

opère comme médiatrice entre l'homme du souci et le sujet du savoir absolu. C'est aussi pourquoi elle exige une longue ascèse subjective, et qui ne sera jamais interrompue, la fin de l'analyse didactique elle-même n'étant pas séparable de l'engagement du sujet dans sa pratique.

Qu'y renonce donc plutôt celui qui ne peut rejoindre à son horizon la subjectivité de son époque. Car comment pourrait-il faire de son être l'axe de tant de vies, celui qui ne saurait rien de la dialectique qui l'engage avec ces vies dans un mouvement symbolique. Qu'il connaisse bien la spire où son époque l'entraîne dans l'œuvre continuée de Babel, et qu'il sache sa fonction d'interprète dans la discorde des langages. Pour les ténèbres du *mundus* autour de quoi s'enroule la tour immense, qu'il laisse à la vision mystique le soin d'y voir s'élever sur un bois éternel le serpent pourrissant de la vie.

Qu'on nous laisse rire si l'on impute à ces propos de détourner le sens de l'œuvre de Freud des assises biologiques qu'il lui eût souhaitées vers les références culturelles dont elle est parcourue. Nous ne voulons ici vous prêcher la doctrine ni du facteur *b*, par quoi l'on désignerait les unes, ni du facteur *c*, où l'on reconnaîtrait les autres. Nous avons voulu seulement vous rappeler l'*a*, *b*, *c*, méconnu de la structure du langage, et vous faire épeler à nouveau le *b-a*,*ba* oublié, de la parole.

Car, quelle recette vous guiderait-elle dans une technique qui se compose de l'une et tire ses effets de l'autre, si vous ne reconnaissiez de l'un et l'autre le champ et la fonction.

L'expérience psychanalytique a retrouvé dans l'homme l'impératif du verbe comme la loi qui l'a formé à son image. Elle manie la fonction poétique du langage pour donner à son désir sa médiation symbolique. Qu'elle vous fasse comprendre enfin que c'est dans le don de la parole [49] que réside toute la réalité de ses effets; car c'est par la voie de son don que toute réalité est venue à l'homme et par son acte continué qu'il la maintient.

Si le domaine que définit ce don de la parole doit suffire à votre action comme à votre savoir, il suffira aussi à votre dévouement. Car il lui offre un champ privilégié.

Quand les Dévas, les hommes et les Asuras, lisons-nous au premier Brâhmana de la cinquième leçon du Bhradâranyaka Upanishad, ter-

выступает как посредничество между человеком «озабоченным» и субъектом абсолютного знания. Вот почему, в частности, она требует долгой субъективной аскезы — аскезы, которой не суждено прекратиться, ибо даже конец дидактического анализа неотделим от деятельного включения субъекта в его практику.

Да не берется за это дело тот, кому горизонт субъективности своей эпохи остается недоступен! Ибо как может он сделать свое бытие стержнем стольких жизней — он, кто ничего не смыслит в диалектике, обязывающей его соединиться с ними в едином символическом движении! Пусть изучит получше очередной виток нескончаемой Вавилонской стройки, к которой привлекла его эпоха, где было ему суждено родиться, да знает свои обязанности переводчика в сумятице языков. Что же до тьмы того mundus, на который накручивается гигантская спираль башни, то пусть оставит он на долю мистика заботу о том, чтобы различить в этих потемках водруженную на вечном древке дохлую змею жизни.

Да будет нам позволено рассмеяться в ответ тем, кто упрекает нас в попытке перенести смысловой центр тяжести работ Фрейда с биологических оснований, на которых он стремился будто бы их утвердить, на культурные ассоциации, которыми они пронизаны. Мы не собираемся проповедовать здесь ни фактор *b*, означающий первое, ни фактор *c*, под которым подразумевается второе. Все, что мы хотели, это напомнить вам неверно понятое *a*, *b*, *c* структуры языка и помочь вам заново выговорить забытые *b-a*, *ba* человеческой речи.

Ибо каким рецептом можете вы руководствоваться в технике, слагающейся из первых и пользующейся вторыми, если вы находитесь в неведении относительно поля и функции того и другого?

Психоаналитический опыт вновь открыл в человеке императив Слова — закон, формирующий человека по своему образу и подобию. Манипулируя поэтической функцией языка, он же, опыт этот, дает человеческому желанию его символическое опосредование. И да позволит он вам, наконец, понять, что вся реальность его результатов заключена лишь в даре речи [49], ибо лишь посредством этого дара пришла к человеку реальность, и лишь совершая акт речи вновь и вновь может он эту реальность сберечь!

Если область, очерченная этим даром, достаточна для вашего действия и вашего знания, она достаточна и для вашего самопожертвования, ибо она дает ему привелигированное поприще.

minaient leur noviciat avec Prajapâti, ils lui firent cette prière: «Parle-nous.»

«*Da*, dit Prajapâti, le dieu du tonnerre. M'avez-vous entendu?» Et les Devas répondirent: «Tu nous as dit: *Damyata*, domptez-vous», — le texte sacré voulant dire que les puissances d'en haut se soumettent à la loi de la parole.

«*Da*, dit Prajapâti, le dieu du tonnerre. M'avez-vous entendu? Et les hommes répondirent: «Tu nous as dit: *Datta*, donnez», — le texte sacré voulant dire que les hommes se reconnaissent par le don de la parole.

«*Da*, dit Prajapâti, le dieu du tonnerre. M'avez-vous entendu?» Et les Asuras répondirent: «Tu nous as dit: *Dayadhvam*, faites grâce», — le texte sacré voulant dire que les puissances d'en bas résonnent à l'invocation de la parole. [50]

C'est là, reprend le texte, ce que la voix divine fait entendre dans le tonnerre: Soumission, don, grâce. *Da, da, da.*

Car Prajapâti à tous répond: «Vous m'avez entendu.»

Заканчивая свое ученичество у Праджапати — повествует нам первая Брахмана пятого урока Бридхараньяка-Упанишады — Дэвы, люди и асуры взмолились к нему, сказав: «Говори с нами!»

> «*Da*», — сказал Праджапати, бог грома. — «Вы меня слышали?» И Дэвы отвечали ему, говоря: «Ты сказал нам: *Damyata*, смиряйте себя», — священный текст, означающий, что вышние силы повинуются закону речи.
>
> «*Da*», — сказал Праджапати, бог грома. — «Вы меня слышали?» И люди отвечали ему, говоря: «Ты сказал нам *Datta*, давайте», — священный текст, означающий, что люди узнают друг друга по дару речи.
>
> «*Da*», — сказал Праджапати, бог грома. — «Вы меня слышали?» И Асуры отвечали ему, говоря: «Ты сказал нам *Dayadhvam*, будьте милостивы», — священный текст, означающий, что силы преисподней откликаются на заклинания речи [50].

Итак, продолжает текст, вот что дает вам расслышать в громе божественный голос: смирение, дар, милость. *Da, da, da*.

Ибо одно отвечает всем Праджапати: «Вы меня слышали».

ПРИМЕЧАНИЯ И КОММЕНТАРИИ

Примечания

1 Ср.: «Логическое время и утверждение предвосхищаемой достоверности», — «Écrits», p.197.

2 Ференци, «Confusion of tongues between the adult and the child», — *International Jour. of Psycho.*, 1949, XXX, IV, p.225 — 230.

3 Параграф переписан заново в 1966 году.

4 Ранее мы написали: «в психологических вопросах», (1966).

5 Параграф переписан заново в 1966 году.

6 Именно здесь решающая точка как практического, так и теоретического расхождения. Ибо отождествлять *Эго* с дисциплиной субъекта, значит смешивать воображаемую изоляцию с господством над инстинктами. А это, в свою очередь, приводит к ошибкам в методике лечения; так, например, при неврозах, мотивированных слишком сильной структурой *Эго*, предпринимаются старания его усилить, что неизбежно приводит в тупик. Разве наш друг Михаэль Балинт не написал недавно, что усиление *Эго* должно помочь субъекту, страдающему *ejaculatio praecox*, поскольку оно позволит ему дольше откладывать удовлетворение своего желания? Но как можно так думать, если факт зависимости желания от воображаемой функции *Эго* как раз и является причиной происходящего в акте короткого замыкания, которое клинические данные психоанализа позволяют однозначно связать с нарциссической идентификацией субъекта с партнером?

7 Речь идет о той самой работе, которой мы воздаем должное в конце нашего введения (1966). Из того, что будет сказано в дальнейшем, следует, что агрессивность является лишь побочным эффектом аналитической фрустрации, хотя определенный тип вмешательства и способен этот эффект усилить; сам по себе, эффект этот ни в коем случае не является основанием пары фрустрация/регрессия.

8 Gesammelte Werke (в дальнейшем: *G.W.*), XII, S. 71; *Cinq psychanalyses*, Presses Universitaires de France (в дальнейшем: PUF), p.356. Французский перевод, *aprés coup*, несколько ослабляет значение немецкого термина nachträglich.

9 *G.W.*, XII, S. 72, примеч. 1, последние строчки. Примечание лишний раз обращает внимание на понятие *Nachträglichkeit*. *Cinq psychanalyses*, p. 356, примеч. 1.

10 Ср.: *Écrits*, р. 204-210.

11 В статье, доступной самому нетребовательному французскому читателю, поскольку опубликована она в *Revue Neurologique*, подшивку которого можно обычно найти в любой ординаторской. Изобличенная нами ошибка лишний раз показывает, в какой мере упомянутое авторитетное лицо [см с. 13 данного издания] достойно своего leadership.

12 Даже если субъект говорит, что называется, «в сторону», он все равно обращается к тому Другому с большой буквы, концепция которого сложилась у нас уже после того, как настоящий текст был написан. Это обстоятельство требует некоторого epoché в употреблении термина «интерсубъективность», которым мы пользуемся и по сей день (1966).

13 Термины эти [allocutaire, locuteur] мы заимствуем у покойного Эдуарда Пишона, чьи указания относительно развития как нашей, так и других освещающих потемки человеческой души дисциплин, обнаруживают в нем ясновидение, объяснить которое можно лишь его занятиями в области семантики.

14 Эта ссылка на апории христианства предваряет другую, более строгую, ссылку на эти апории в той кульминации янсенизма, которую мы находим у Паскаля; его пари, до сих пор совершенно непонятое, заставило меня снова поднять весь этот вопрос, чтобы показать, сколь неоценимые сокровища хранит он для аналитика. На данный момент (июнь 1966 г.) результаты этого исследования не были мной обнародованы.

15 Слова эти принадлежат одному из наиболее заинтересованных в данной дискуссии психоаналитиков (1966).

16 Ср.: Gegenwunschträume, в: *Traumdeutung*, *G.W.*, II, S. 155-157 и 163-164. Английский перевод: Standard Edition, IV, p. 151 и 157-158, французский перевод: изд. Alcan, p. 140 и p. 146.

17 Чтобы оценить итоги этих процедур, следует внимательно изучить заметки Эмиля Бореля в его книге *Le Hasard* (*Случай*), где автор показывает тривиальность «замечательных» на вид результатов, получаемых путем манипуляций над любым числом — заметки, которые я с тех пор успел достаточно популяризировать (1966).

18 Ср.: C.I. Oberndorf, «Unsatisfactory results of psychoanalytic therapy» — *Psychoanalytic Quarterly*, 19, 393-407.

19 Ср., в частности: *Do Kamo*, Мориса Леенхардта, гл. IX и X.

20 Jules H. Massermann, «Language, behavior, and dynamic psychiatry», Inter. *Journal of Psychan.*, 1944, 1 и 2, p. 1-8.

21 Афоризм Лихтенберга: «Сумасшедший, воображающий себя князем, отличается от настоящего князя тем, что первый — только князь со знаком минус, а второй — сумасшедший со знаком минус. Если их рассматривать без знаков, то они подобны друг другу». (А. 108)

22 Чтобы получить наглядное субъективное подтверждение этого замечания Гегеля, достаточно было во время недавней эпидемии миксоматоза увидеть на дороге слепого кролика, обратившего к заходящему солнцу пустоту незрячих глазниц, ставшую вдруг взглядом — взглядом, выражавшим воистину человеческую трагедию.

23 Предыдущие и последующие строки показывают, что я разумею под этим термином.

24 Ошибка Райха, к которой мы еще вернемся, послужила причиной того, что он принял герб [armoirie] за доспехи [armure].

25 Ср.: Клод Леви-Стросс, «Language and the analysis of social laws», — *American Anthropologist*, vol. 53, N 2, April — June 1951, p. 155-163.

26 Последние четыре параграфа переписаны заново (1966 г.).

27 Два последние параграфа переписаны заново (1966 г.).

28 О гипотезе Галилея и часах Гюйгенса см.: Александр Койре, «An experiment in measurement», — *Proceedings of American Philosophical society*, vol. 97, april 1953. Два последних параграфа переписаны заново (1966 г.).

29 Впоследствии намеченные здесь мысли получили у нас дальнейшее развитие (1966 г.). Четыре параграфа переписаны заново.

30 «Sur la theorie du symbolisme», — *British Journal of Psychology*, IX, 2. Перепечатано в *Papers on Psychoanalysis* Ср.: *Écrits*, p. 695.

31 Речь идет об учении Абхинавагупты (десятый век). См.работу Д-ра Канти Чандра Пандей «Indian Esthetics», — *Chowkamba Sanskrit Series*, Studies, vol. II, Bénarès, 1950.

32 Эрнст Крис, «Ego Psychology and Interpretation», — *Psychoanalytic Quarterly*, XX, N 1, January 1951, p. 15-29; ср.также отрывок, цитируемый на p. 27-28.

33 Параграф переписан заново (1966 г.).

34 Сказано для всякого, кто еще способен понять это, обратившись в расчете найти подтверждение теории, рассматривающей слово как «действие рядом» (почему не «действие к...»?), к переводу греческого термина parabolê у Литтре, не заметившего, что слово это сохраняет указанное им значение исключительно в силу богослужебного употребления, в котором слово «Слово» уже с 10-го века было закреплено за понятием воплощенного Логоса.

35 У каждого языка есть свои формы передачи, и поскольку законность подобного исследования определяется его успехом, ничто не мешает нам извлечь из него моральный урок. Рассмотрим, к примеру, изречение, послужившее эпиграфом к нашему предисловию [En particulier, il ne faudra pas oublier, que la séparation en embryologie, sociologie, clinique n'existe pas dans la

nature et qu'il n'y à qu'une discipline: la neurobiologie a laquelle l'observation nous oblige d'ajouter l'épithète d'humaine en ce qui nous concerne]. В силу избыточности языковых средств стиль его покажется вам, вероятно, несколько вялым. Но стоит его от этой избыточности освободить, и смелость его будет вознаграждена заслуженным восторгом. Внемлите: «Parfaupe ouclaspa nannanbryle anaphi ologi psysoscline ixispad anlana — egnia kune n'rbiol' ôblijouter tetumaine ennouconc...». Наконец-то перед нами сообщение в чистом его виде! Поднимает голову смысл, свидетельство бытия уже слышится в нем, и наш победный ум завещает будущему свой бессмертный отпечаток.

36 Эдвард Гловер. «The Therapeutic Effect of Inexact Interpretation»; a Contribution to the Theory of Suggestion», — *Int. J. Psa*; XII, p. 4.

37 Роберт Флис, «Silence and Verbalization. A Supplement to the Theory of the 'Analytic Rule'», — *Int. J.Psy.*, XXX, p. 1.

38 Термин эквивалентен немецкому *Zwangsbefürchtung*, который нужно разложение на составные компоненты, не утратив при этом его семантических ресурсов.

39 Два параграфа переписаны заново (1966 г.).

40 Термин этот относится к обычаю кельтского происхождения — сохраняющемуся в некоторых библейских сектах в Америке и по сей день, — который позволяет обрученным молодым людям или даже просто гостю и дочери хозяина дома, спать вместе в одной постели, но при условии, однако, что спчт они не снимая верхней одежды. Значение слова связано с тем, что девушку в таких случаях плотно заворачивали в несколько простыней. (Об этом упоминает де Квинси; ср. также книгу Орана Младшего о подобном же обычае у секты Амишей.) Таким образом, миф о Тристане и Изольде, как и представленный этим мифом комплекс, навечно предопределяет судьбу психоаналитика, пустившегося в поиски души обреченной на обманный брак, постепенным ослаблением обусловленных инстинктами фантазмов.

41 Таким образом, здесь получает определение то самое, что в дальнейшем будет рассматриваться как основа переноса, а именно субъект-почитаемый-знающим (1966).

42 Именно таков правильный перевод этих двух терминов, которые до сих пор с достойным лучшего применения упорством переводили (на что нам уже случалось указывать) как «анализ законченный и анализ бесконечный».

43 Ср. Авл Геллий, Аттические ночи, ii, 4: «Когда в ходе судебного процесса встает вопрос о том, кто будет представлять обвинение, и на эту роль находится двое или более претендентов, решение, которым трибунал назначает обвинителя, называется дивинацией... Словно это происходит от того, что поскольку обвинитель и обвиняемый суть лица коррелятивные и один без другого существовать не может, а при вынесении суждения, о котором

идет речь, имеется в наличии только обвиняемый без обвинителя, то чтобы узнать то, о чем дело обвиняемого умалчивает, что оно оставляет еще неизвестным, т.е. обвинителя, следует прибегнуть к дивинации.»

44 Два параграфа переписаны заново (1966 г.).

45 Ляжет этот камень во главу угла или будет отвергнут, мы видим свою силу в том, что в этом пункте никогда не уступали (1966).

46 Форма эта называется Laksanalaksana.

47 Эти четыре слова, заключающие в себе нашу позднейшую формулировку повторения (1966 г.), заменяют неуместную в данном случае ссылку на «вечное возвращение» к которой, однако, и сводилось все, что мы могли тогда по этому вопросу сказать с надеждой, что нас поймут.

48 Начатки топологии, применяемой нами в течение последних пяти лет (1966 г.).

49 Следует пояснить, что речь здесь идет не о тех «дарованиях», на отсутствие которых у новичков привыкли жаловаться, а о том тоне, которого им действительно не хватает слишком часто.

50 Понж пишет: réson (1966 г.) [В работе *Pour un Malhérbe*. Слово réson омонимично слову raison — разум.]

Примечания переводчика

* К стр. 12 «Плоть, состоящая из солнц. Как это возможно, — восклицают простецы». Р.Браунинг
* К стр. 15 [culture]
* К стр. 15 А. Рембо, *Искательница вшей*
* К стр. 19 Буало, *Поэтическое искусство*, I гл.
* К стр. 25 Pandore — по-французски «жандарм»; verbaliser — (вербализовать) означает также «составить акт о наличии преступления»
* К стр. 29 Салонная игра, в которой сидящие по кругу игроки незаметно передают друг другу предмет («хорек»), в то время как ведущий игрок в центре круга должен угадать, в чьей руке «хорек» находится.
* К стр. 52 Мы пустые люди
  Мы люди чучела
  Прислоняющиеся друг к другу
  И головы наши — увы! — набиты соломой.
  Т. С. Эллиот *Пустые люди*.
* К стр. 56 П. Валери, *Пифия*
* К стр. 59 Ибо я своими глазами видел Кумскую Сивиллу, висевшую внутри стеклянного сосуда, и когда мальчики спрашивали ее: «Чего ты хочешь, Сивилла», она отвечала: «Хочу умереть». *Сатирикон*, XLVIII
* К стр. 89 См. примечание к стр. 29.

Перед нами текст «Римской речи». В качестве текста — писания (Écrits), высказывания (énonce) — он герметичен, темен и открыт для истолкования и комментария, к которому и приглашает читателя.

В качестве речи — акта высказывания (énonciation) — он красноречив, говорит сам за себя и (Cause toujurs!) требует продолжения, каковым и будет планируемая русская публикация лакановских «Семинаров».

Впрочем, без одного толкования было все же не обойтись. Мы имеем ввиду сам перевод. И надеемся, что его драпировки не слишком сильно скрадывают темные, но выразительные черты подлинника, еще не успевшие исчезнуть под тяжелыми, непроницаемыми ризами научного — по терминологии Лакана, «университетского» — комментария.

Сама темнота оригинала красноречива; удалось ли нам сделать столь же красноречивой темноту перевода — судить читателю.

В издательстве «Гнозис» в сотрудничестве с Лакановским обществом (Париж) готовится к изданию 1-й том собрания *Семинаров* Жака Лакана:

Книга I: *Работы Фрейда по технике психоанализа.*
(1953/1954)

С приложением: *Предисловия к комментарию Жана Ипполита к статье «Verneinung» Фрейда, Устного комментария Жана Ипполита к статье Фрейда «Verneinung», Ответа на комментарий Жана Ипполита к статье «Verneinung» Фрейда*

...Что же говорит нам Фрейд? По сути дела, он указывает нам на феномен, определяющий структуру любого откровения истины в процессе диалога. Говоря то, что он хочет сказать, субъект сталкивается с некоей принципиальной трудностью. Наиболее распространена та, которая обнаружена Фрейдом в явлении вытеснения — она состоит в несоответствии между означающим и означаемым, обусловленным любой цензурой социльного происхождения. В этом случае истина все равно сообщается, но сообщается между строк. Другими словами, тот, кто хочет, чтобы истину услышали, всегда может прибегнуть к технике, которую подсказывает идентичность истины и открывающих ее символов, то есть он может достичь своей цели, сознательно вводя в текст несообразности, криптографически соответствующие тем, что навязывает цензура.

(*Предисловие к комментарию Жана Ипполита к статье «Verneinung» Фрейда*)

Общий объем: 24-25 п.л.. Планируемое время издания — май-июнь 1996 г.

В издательстве «Гнозис» выходит новая книга серии «Феноменология, герменевтикак, философия языка»:

Густав Шпет и Мартин Хайдеггер о Дильтее.

Густав Шпет.
Глава из II тома «Истории как проблемы логики» Вильгельм Дильтей.
Мартин Хайдеггер.
Кассельские доклады. Исследовательская работа Вильгельма Дильтея и борьба за историческое мировоззрение в наши дни.

Тексты двух лучших учеников Эд. Гуссерля посвящены мыслителю с именем которого отчасти связан поворот в феноменологии в сторону герменевтической проблематики. В критически заостренной работе Шпета анализируются парадоксы, возникающие при обосновании Дильтеем методологического дуализма с полаганием описательной психологии в качестве основы наук о духе (Geisteswissenschsft).
Лекции Хайдеггера прочитанные в 1925 в Касселе носят более позитивный историко-философский характер, представляя место Дильтея в современности размышлений о смысле бытия. Хайдеггер сталкивает дискурс Дильтея с феноменологией, и ищет основание для их совмещения в проработке идеи времени.

(Перевод текста Хайдеггера выполнен А.В. Михайловым, подготовка архивной рукописи Шпета - И.М. Чубаровым.)

Общий объем: 12 п.л. Время издания октябрь-ноябрь 1995 г.